

# ОСТРОВ

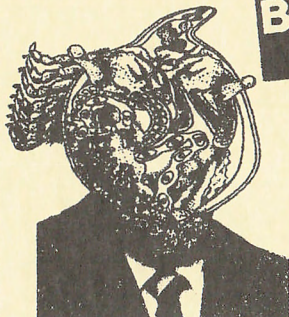
Литературно-художественный альманах  
№5



Берлин 1996

# ВЫБЕРЕМ ДОСТОЙНОГО ПРЕЗИДЕНТА !

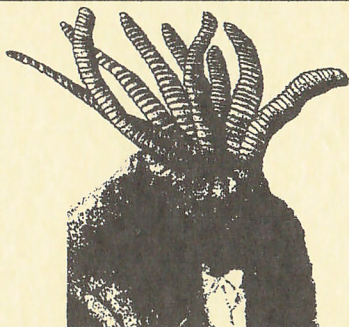
**ВЫБОРЫ  
1996**



**КАНДИДАТ ОТ ПАРТИИ  
"РУССКОЕ ПРОЦВЕ-  
ТАНИЕ" -  
Г. ВОЛКОВОЙ Ю.А.**



**КАНДИДАТ ОТ ПАРТИИ  
"ДЕМОКРАТИЯ БЕЗ  
ПРЕДЕЛА" - ПАХАН  
Г. КАЧАКОВ Ф.В.**



**КАНДИДАТ ОТ БЛОКА  
НЕЗАВИСИМЫХ  
"ОБЩАЯ ХАТА" -  
Г. ЧИКАТИЛОВ Н.А.**



**КАНДИДАТ ОТ ПАРТИИ  
НОСИЛЬЩИКОВ "КОМУ  
НЕСТИ ЧЕГО КУДА" -  
Г. РУМЯНЦЕВ К.Е.**

# ОСТРОВ 5

**Независимый  
публицистический  
и литературно-  
художественный  
альманах**

**Выходит с июня 1994 года**



## Содержание

<b>Томас Венцлова.</b> Памяти поэта. ( <i>Перевод Иосифа Бродского</i> ).	3
<b>Михаил Кузмин.</b> Зачем пекут пироги. <i>Рассказ.</i>	5
<b>Генрих Сапгир.</b> Стихотворения.	10
<b>Василий А. Димов.</b> Запах мужского одеколona. <i>Глава из романа.</i>	17
<b>Геннадий Айги.</b> Стихи разных лет.	61
<b>Феликс Филипп Ингольд.</b> Речь на церемонии вручения премии...	72
<b>Игорь Гергенредер.</b> Стожок на поляне. <i>Повесть.</i>	80
<b>Владимир Батшев.</b> Как это было. <i>Рассказ.</i>	110
<b>Светлана Васильева.</b> Товарищ Вова. <i>Рассказ.</i>	117
<b>Андрей Анпилов.</b> Стихотворения.	128
<b>Александр Ткаченко.</b> Стихотворения.	136
<b>Сергей Лейбгард.</b> Стихотворения.	140
<b>Анатолий Гаврилов.</b> Три рассказа.	145
<b>Сергей Боровиков.</b> Кронштейн. <i>Рассказ.</i>	150
<b>Юрий Кудлач.</b> Туалет. <i>Рассказ.</i>	157
<b>Виталий Скуратовский.</b> Мегафон. <i>Рассказ.</i>	165
<b>Виктор Славкин.</b> Странное ружье. <i>Рассказ.</i>	175
Вернисаж «Острова»: <b>Женя Шеф.</b> «Политические насекомые».	177
<b>Марк Харитонов.</b> Берлинские размышления. Эссе.	185
<b>Виктор Ерофеев.</b> Морфология русского народного секса.	194
<b>Евгений Попов.</b> Германия и «новая проза» в России. <i>Доклад.</i>	221
Радиовещание на русском языке в Центральной Европе.	230

*На первой странице обложки — рис. Жени Шефа.*

Buchhandlung «RADUGA»  
Оформление и макет © XLinCOM



**28 января 1996 года  
в Нью-Йорке  
умер Иосиф Бродский**

Из Томаса Венцлова

# Памяти поэта

ВАРИАНТ

В Петербурге мы сойдёмся снова...

*Осип Мандельштам*

Вернулся ль ты в воспетую подробно  
Юдоль, чья геометрия продрогла,—  
В план города, в скелет его, под ребра,  
Где снегом выколов Адмиралтейства вид  
Из глаз, мощь выключаемого света  
Выводит тень из ледяного спектра  
И в том конце Измайловского смертно  
Многоколесный ржавый хор трубит.

Опять трамвай вторгается, как эхо  
В грязь мостовой, в слезящееся веко,  
И холод девятнадцатого века  
Царит в вокзалах. Тусклое рядно  
Десятилетний пеленает кровли.  
Опять ширь жестов, родственная кроне.  
На свете всё восстановимо, кроме  
Простого тела, видимо. Оно

Уходит в зимнем сумраке незримо  
В зарю глухую Северного Рима,  
Шаг приспособив к перебоям ритма  
Пурги, в пространство тайное, в тот круг,

Где зов волчицы переходит в общий  
Конвойный вой умалишенных волчий,  
В былую притчу во языцех — в отчий  
Заочный и дослёзный Петербург.

Не воскресить гармони и дара,  
Поленьев треска, тёплого угара  
В том очаге, что время разжигало.  
Но есть очаг вневременный, и та  
Есть оптика, что преломляет судьбы  
До совпаденья слова или сугги,  
До вечных форм, повторенных в сосуде,  
На общине рассчитанном уста.

Взамен необретаемого Рая,  
Из пены волн, что остров выпирая,  
Не отраженье жизни, но вторая  
Жизнь восстаёт из устной скорлупы.  
И в свалке туч над мачтою ковчега  
Ширяет голубь в понсках ночлега,  
Не отличая обжитого берега  
От Арарата. Голуби слепы.

Оставь же землю. Время плыть без курса.  
Крошится камень, ложь бормочет тускло.  
Но, как свидетель выживший, искусство  
Буравит взглядом снега круговерть.  
Бредут в моря на оцупь устья снова.  
Взрывает знак мощь ледяного крова.  
И легкое бессмысленное слово  
Звучит вдали отчетливей, чем смерть.

*Перевод с литовского  
Иосифа Бродского*

"Вечернее слово"

Петроград, 6 июня 1918 г.

РЕДКАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

# Зачѣмъ пекутъ пироги.

Разскаъ М. Кузмина.

*(В рассказе сохранена орфография подлинника)*

В детстве, всякий знает, бывает совсем другое солнце. Какие бы ап-рели ни наступали, как бы вы ни были счастливы, или влюблены, такого милого, ласкового, желтого и домашнего солнышка вы уже не встретите. Оно почти такой же простой друг, как няня, или мама и на него вполне можно сердиться, когда оно долго не показывается. А как оно интересуется вашими игрушками, которые вы только что получили в подарок и расставляете на теплом подоконнике! Как блестят от его лучей лакированные мундиры солдат и кокошники кормилиц! Улыбка матери, ее домашнее платье, пасха, запертые двери, скрывающие зажженную елку, и весеннее солнце в окне детской, — вы сохранились, может быть, только в сказках Гофмана и в пожелтевших гравюрах Даниила Ходовецкого, этой сокровищнице домашней жизни и семейного уюта!

В детстве я жил в провинциальном городе, расположенном на го-рах. Конечно, это были очень относительные возвышенности, только при-горки (да и где в России найдутся Альпы?), но для весенних потоков они были совершенно достаточны, чтобы мутная вода с шумом бежала вниз, унося с собою щепки, бумажные кораблики и раздробленную синеву

небес. На плоских площадях стояли кругло лужи и важно сторонился от тонущих пролетов очутившийся каким-то чудом посреди города, гусь.

На одной из косогорных улиц, где особенно быстро вертелись три ручья (вдоль тротуаров и один, широкий, — тише, — посреди улицы), обгоняя друг друга, стоял чистый дом в два этажа, где жила приятельница моих родителей, Наталья Петровна Фертиг.

Хотя Наталья Петровна была значительно моложе моей матери, она была вдовой, так как муж ее, г-н Фертиг, уже умер и живым его никто не видел. На карточках, рассыпанных в изобилии по светлым комнатам нашей соседки, он изображался в виде молодого, довольно хилого, иностранца, с печальным длинным лицом и в кепке, совсем не похожего на свою смешную (мне тогда казалось) фамилию. Еще меньше подходила к этой фамилии голубоглазая вдова с русой косой, веселая, румяная, и плавная и когда я ее вспоминаю, мне представляется, что она не ходила, а плавала, быстро, быстро плавала, ловко не задевая ни за какую мебель, которая так густо заставляла ее квартиру.

Кажется, знакомство это было случайным, но веселая Наталья Петровна пришла к нам ко двору, и мать всегда защищала свою молодую подругу, когда ту обвиняли в легкомыслии и слишком открытой жизни. У меня же были свои отношения к г-же Фертиг, и главным нашим посредником был шкаф. У Натальи Петровны в спальне стоял небольшой застекленный шкаф, полный книг в пестрых переплетах. Книжки были так же пестры, как и их переплеты, частью разрозненные, без конца и начала, но хозяйка весело позволяла мне их читать. Я же, только что выучившись читать, был необузданным читателем и не довольствовался теми книжками, что дарили мне на праздники. Шкафы отца, где несколько полок занимали энциклопедические словари, сочинения Элизе, Реклю, Брэма и Тэна, казались мне невыразимо скучными, притом были заперты на ключ.

Минуты у г-жи Фертиг были мне слаще всякого любовного свидания: подвинуть низкий голубой пуф, открыть скрипучую стеклянную дверцу, вытащить 1001 ночь, Гулливера, а то и похождения Фоблаза, причем вследствие моей невинности эротические сцены мне представлялись более фантастическими, чем путешествие в Лапту! Наталья Петровна плавает по соседней комнате, напевая, изредка поцелует или погладит меня, всегда веселая и ласковая. Казалось, с ней никогда не могли бы произойти неприятности или огорчения, и смерть ее мужа представлялась

ненастоящей, будто его никогда и не было, а если он и существовал, то только для того, чтобы оставить вдове смешную фамилию.

К числу достоинств г-жи Фертиг нужно отнести ее всегдашнюю готовность отвечать на все вопросы. Отвечала она быстро и не думая, казалось, о чем ее спрашивают, но я за этим и не гнался. Мне было приятно, что всякое мое недоуменье разрешалось определенно и без проволочек, хотя бы и неправильно. Это меня успокаивало и внушало глубокое доверие к голубоглазой соседке.

Запомнился же мне один случай (даже, может быть, и не случай, а так, середина случая без начала и без конца, вроде книг г-жи Фертиг) именно потому, что в тот день на мой простой, но, правда, довольно глупый для восьмилетнего мальчика, вопрос я не получил немедленного ответа.

Часто, как постоянный завсегдатай и друг дома, я ходил к Наталье Петровне безо всякого звонка, через кухню. Собственно говоря, я не знаю, на чем основывались обвинения к г-же Фертиг в слишком открытой жизни, — я почти никогда не заставал у нее никого. Положим, я всегда бывал у нея по утрам, когда сама хозяйка ходила еще в капоте и туфлях. Но в данное воскресенье я дольше пробыл дома, увлекшись пирожками с изюмом, и даже захватил их с собою штуки три, мечтая, как я буду сидеть на полу у шкафчика, читая "Собор Парижской Богоматери" и продавливать сдобную и твердую корочку, из-под которой обильно выступает сладкая и вязкая масса коричневатых ягод.

Пройдя почти все комнаты, я не нашел Натальи Петровны и не слышал никакого голоса, что впрочем было и естественно, раз она была одна в квартире. В солнечных веселых комнатах пахло только пирогом с ливером. Я толкнул белую створку в ее спальню, в которую входил сравнительно редко. Широкая кровать закрывала от меня постель и только верхняя думка белела с розовыми прошивками. На спинке беспорядочно висело легкое тряпье и длинные черные чулки. Сама же г-жа Фертиг сидела перед зеркалом, спиной к дверям, подняв высоко свои, оказавшиеся довольно полными, руки, в розовом тугом корсете и нижней юбке. Не оборачиваясь, она проговорила ко мне:

— Андрюша, куда ты лезешь? Я еще не одета.

Но сказала она это, не сердясь, а как будто шутя, и разсмеелась смущенно. В стекле лицо ее казалось совсем другого цвета, чем так: гораздо темнее и двусмысленнее. По зеркалу ползли сбоку венецианские

лубочные цветы, и незабудки, завившись вверх, приходились как раз на кончике носа Натальи Петровны. Не знаю, как могла она соотносить свою прическу в таком виде. Я никогда еще не видел нашу соседку такую и вдруг почувствовал ревность и скуку. Я молчал у дверей; часы пробили три раза (я даже не подумал, почему хозяйка до такого позднего часа не одета), в комнатах пахло ливерным пирогом, через розовые занавески солнце казалось жарким и ленивым. Руки г-жи Фертиг были покрыты испариной и широко пропускали через пальцы русые волосы, как струи пожарной кишки. Я чувствовал себя почти лишним, и духи Натальи Петровны мне перестали нравиться. Я хотел вынуть платок, чтобы отереть пот, и вдруг нашел в кармане свои бедные, забытые пирожки с изюмом. Непонятная цепь мыслей заставила меня воскликнуть с тоской:

— Наталья Петровна, зачем по праздникам пекут пироги?

Вот тут-то г-жа Фертиг и не ответила сразу. Повернувшись ко мне лицом, причем я ясно мог видеть, насколько это лицо было мало похоже на свое отражение с незабудкой на носу, она всплеснула руками и молчала; грудь ее дышала с наглядной порывистостью, корсет тихонько поскрипывал, и я заметил, что одна нога ее была необута. Это продолжалось минуты две, потом г-жа Фертиг разсмеелась и проговорила очень громко, обращаясь куда-то к кровати:

— Чтобы помнили праздники, чтобы было приятнее, чем в другие дни, затем и пекут пироги.

Мне показалось, что кровать шевелится. Еще тоскливее я продолжал:

— А куличи только раз в год!

Не знаю, что размешило госпожу Фертиг, но она долго смеялась и только потом повторила:

— А куличи только раз в год.

— Натальи, что у вас за болван? — вдруг раздался грубый, невысказанный голос из-за грушевой спинки кровати. Глаза Натальи Петровны округлились, как голубые вишни, она вся сжалась с выражением плутоватого ужаса и неумело приложила палец к губам, приглашая меня молчать. Я только теперь заметил на отдельном столике аккуратно сложенные полосатые брюки, поверх которых ничего даже не лежало, кроме пыльного солнечного света. Я впился в них глазами, будто из них выходил неожиданный бас, который продолжал:

— Вышлите, прошу вас, молодого человека куда-нибудь. Мне

нужно одеться. Если вы не стесняетесь при нем, это — ваше дело!

— Андрюша, пойдй покуда к шкафику... — начала было г-жа Фертиг, но я, не ожидая конца фразы, быстро выбежал, хлопнув дверь. Я не пошел к шкафу, не раскрыл "Собора Парижской Богоматери", а направился прямо домой. По дороге я опять нащупал в кармане пирожки с изюмом и бросил их в канаву. Несмотря на свое отчаяние, я все-таки посмотрел, не поплывут ли они, как кораблики, но они потонули, — начинка была слишком тяжела.

Я больше не возвращался к нашей соседке. Впрочем, она и сама скоро покинула наш город. Но я навсегда запомнил ее последние ответы. Поэтому, как это ни странно, при виде плутоватых улыбок, корсетов, голых рук, белья и полосатых брюк мне вспоминаются пироги. И еще: даже при отсутствии муки и куличей я знаю, что бывают смешные и милые происшествия, которые хочется и следует запечатлеть в памяти, и что некоторые события случаются не чаще раза в год. Может быть, убедился я и в том, какая непрочная вещь — дружба, к которой примешана любовь.

*М. Кузмин.  
1918. Май.*

*Михаил Алексеевич Кузмин (1872-1936) - известный русский поэт, прозаик, критик, а также музыкант и композитор. Примыкал к символистам, затем к акмеизму. Его имя связывают с "серебряным веком" русской поэзии.*

ГЕНРИХ САПГИР

# Стихотворения

## ПОЛЕТЫ

1

главное найти подходящую свалку  
и средство передвижения  
вернее канал  
не всякая труба годится  
выхлопная слишком узка  
застрянешь  
башка из-под пива оливок  
больно ударишься о дно  
вот водопроводная с фланцем  
правда кривая и ржавая  
ну уж куда-нибудь выведет  
нагибаюсь  
сложив мысом руки  
и ныряю  
в темный тоннель  
лечу  
стенки слава Богу гладкие  
главное выскакивая  
не порезаться о края  
Боже! меня всего выворачивает  
одежда на мне — винтом  
это резьба  
вывернулся —  
вернулся на свежий воздух

выпрыгнул —  
весь как штопор  
прибыл благополучно

## 2

домой вернулся  
кругом как всегда мечталось  
будто дали кулаком —  
сплющили  
а потом долго завязывали узлом:  
такая улица  
такое небо  
такие трамван  
хромая на обе  
увлеченно ковыляю за кривобокой  
(восхитительно извилистые ножки!)  
и прохожие навстречу  
изламываются  
вроде идут перпендикулярно даже —  
вообще вижу вышукло:  
— кривет креветка!  
хочешь кривушку  
пенного пива? —  
зацепило на крючок  
закорючку  
поехали в мою квартиру  
на стенах у меня — кривопись  
хромая хромированная кровать  
кривой писсуар —  
к соседям!  
моя волнушка —  
так ей понравилось —  
вся зигзагами пошла:  
— если бы ты еще одно-руконогий был!  
— сама говорю не очень ступенчатая...  
повеселились

вышигнулся я из алчных губ  
посмотрела камбалой:  
— а ты говорит подозрительно ровен...  
презрительно искривилась —  
и фью! — кривет  
меня даже всего затрясло:  
выпрямление личности!  
не хочу прежнего!  
это моя кривородина! моя!  
где мои родичи-кривичи?  
я волнуюсь волнуюсь  
(просто кривое зеркало  
выпрямляет мое кривцо)  
дома я! дома!  
по экрану бегут волны волны  
оратор: “волнительно!..”  
откроешь библию: точно —  
вначале была Волна

## ДЫРА

если идти в сторону от  
не доходя до  
в котловине среди невысоких гор  
сожженных зноем —  
дыра  
ни огня ни дыма ни пепла —  
и никогда никого  
нет какая-то фигура  
бредет ко мне  
обгорелые лохмотья  
красный лоб  
сумасшедший белый глаз:  
— где я? —  
объясняю  
— откуда вы?  
— там беда

нет вы не думайте — там как и здесь...  
но как-то проснулись —  
топает и топает в мозгу  
хоть о стекку голову разбей  
многие разбили —  
повыпрыгивали из окон  
бежали в трусах и пижамах...  
тут и открылось:  
если топать самим  
постепенно стихает

скоро весь мир топал в реве рока  
в наушниках:  
разговаривает — топ-топ  
ест — топ-топ под столом  
ночью вскочит — топ-топ  
привычка —  
не у меня не у меня  
не могу топ-топ (подпрыгнул)  
почему вы не топаете?  
где я? —  
объясняю

— и жена у меня топ-топ  
и начальник на меня топ-топ  
все топаяют как сумасшедшие  
в результате сумасшедший я  
пришлось бежать и спастись  
где я? —  
объясняю

— а у вас небо не топает?  
облака... а не топает...  
может быть не умеете?  
надо так  
(он дважды притопнул в пыли  
растоптанными кроссовками)  
— топай дурак! твое счастье —  
вдруг повернулся и пошел

побежал притоптывая приплясывая  
среди кустиков полыни и каперсов  
рассыпались сухие колючки  
под ударами его подошв  
обернулся:  
— вы — обреченный мир!  
и никто про вас не узнает...

в зыбком зное  
фигура его растворилась  
казалось  
исчезла в серой дыре топ-топ  
стало слышно:  
повсвистывают суслики  
подошел ближе:  
дыра и дыра куда-то вбок  
вдруг  
дважды притопнул —  
камешки и песок посыпались вниз

## ПОХОРОНЫ

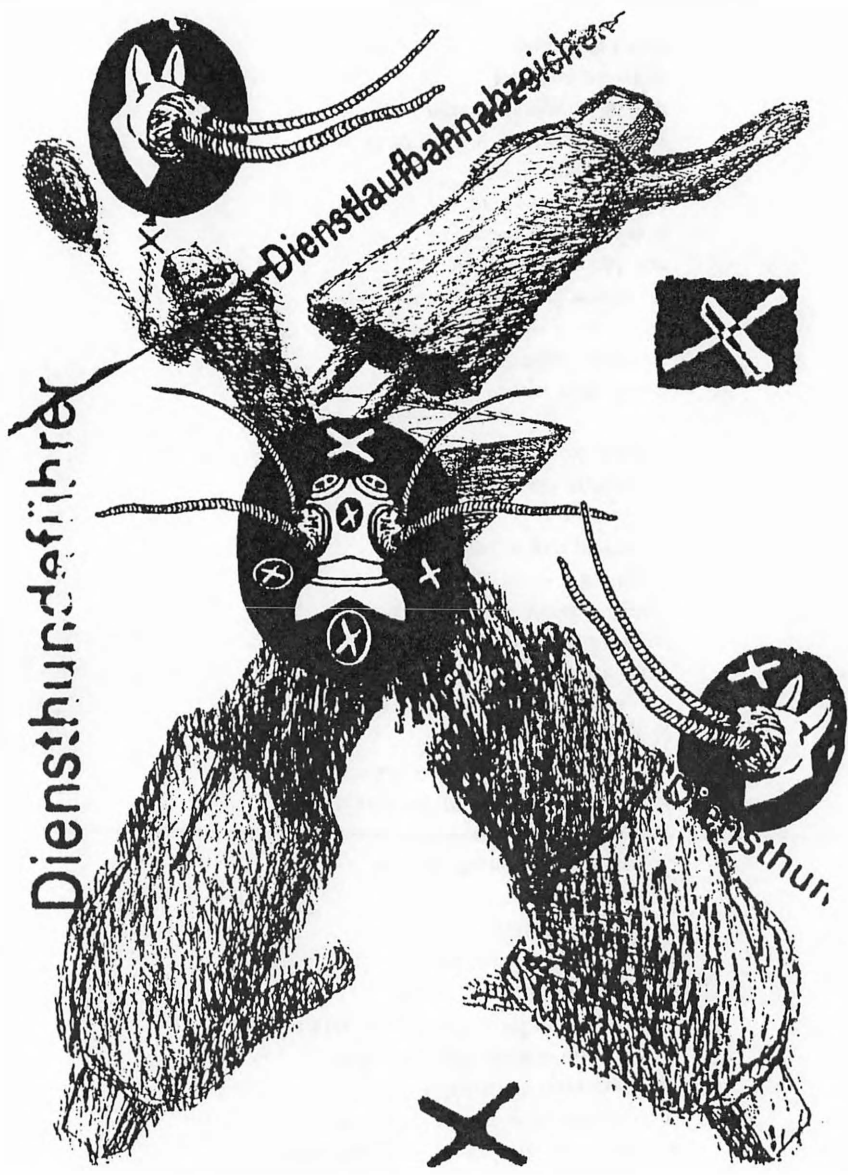
мой брат был честный коммунист  
на рынке — август и астры  
в квартире от горя черно  
все были растеряны  
и не знали как надо  
но кто-то привычно командовал  
и дело двигалось:  
ушибая гроб о стенки  
вынесли тело —  
автобус еще не подъехал  
— автобус подъехал!  
— где тело? несите тело!..  
на кладбище  
две белокурые женщины  
так плакали убивались —  
родственники? кто это?  
гроб катил по дорожке

как именьник  
кого-то забыли  
кисли лиловые астры  
в изголовье — лицо брата —  
сырой нашлепок  
видно долго мяли —  
приводили в порядок  
все равно непохоже  
но вдова упала закричала —  
пожелтела березовая прядь  
запахли сыростью комья  
наступила осень

старые коммунисты верны себе:  
у могилы произносили:  
товарищи  
на поминках вставали:  
товарищи —  
седые с впальыми висками:  
себя не жалел! —  
если что — жилистые  
ни себя ни тебя не пожалеют...  
бедная моя Мария!  
горе — нож с черным черенком  
столько резали — сам притупился  
а его втыкали в колбасу и мясо  
покраснев осатанев от водки  
всё вставали  
всё произносили...  
честные коммунисты  
они и подумать не могли  
что пришьельцы их давно изучают  
что мафия давно купила город  
что родился антихрист  
и что брат мой снова родится  
на этот раз у мулатки в Аргентине

---

*Близкий к ланозовской школе, известный московский поэт-авангардист родился в 1928 году. В советское время на Родине печатались только его стихи для детей.*



ВАСИЛИЙ А. ДИМОВ

# Запах мужского одеколона

Глава из романа «Аллюзии святого Поссекеля»

Не надо оплакивать толпу, если достаточно одного героя.

Ложь не есть поступок. Ложь есть движение мысли.

Только ненависть к человеку может породить иллюзию собственного бессмертия.

Расплачиваясь за чужой прогноз.

Из всех редко встречающихся в природе безобидных шалостей эта забавляла меня чаще других.

Разница между откровением и злоупотреблением равна нулю.

Если глухой слушает музыку, это не значит, что для других она тоже звучит.

Берлин — город! Никакой из самых откровенных произвольных жестов, ни выразительная мимика серьезного маленького лица, ни высококравственный подбор избранного поэтического материала не могут адекватно передать значимости этого вечно торжественного восклицания. Никакие самые глубокие исторические рассуждения и пространные философские академические выкладки не могут провести достойной показательной аналогии. Никаким самым изощренным и дерзким эмоциям не перепрыгнуть через зубчатую бетонную стену этого величественного бытия. Берлин — город! Чувствительное человеческое тело и его не менее чувствительное неисчерпаемое аналитическое сознание бессильны перед застывшей ритуально-каменной стихией, бессильны перед бесконечностью в миниатюре. И тебе, смертному из смертных, грешному из грешных, не остается ничего другого, как публично сжечь свой последний, выцветший, без герба, флаг, демонстративно выпрямиться в полный рост, закрыть под очками от страха глаза, и, воодушевляя себя сомнительными почестями, с мыслями о риске сдаться в его крепкий магический плен. Берлин — город! Манерно снимая перед ним фетровую шляпу и обтягивающие тонкие руки перчатки, молча, вслепую, но аккуратно, переступаешь, чтобы не зацепить его белый порог, и ты — в растянутом до непредсказуемости авангардистском круге. Берлин — город! Безэтапный переход из состояния невесомости в мир конструктивного эклектичного постреализма. Вышитый сверкающими серебряными нитями бордово-бархатный занавес медленно поднимается над заповедной недвижимостью. Часть города превращается в декорации. В замедленном темпе звучат из открытых окон приглушенные монофонические радиомарши. Сами по себе. А может быть, и для тебя. А может быть, в честь тебя? Конечно же, в честь тебя! Ты и город смотрите друг на друга не без удивления. Но это — обмен сдержанными взглядами. Условный обмен условными ожиданиями. Без рукопожатий и других официальных приветствий. Без протокола. Занавес медленно поднимается. Город вживается в предлагаемые обстоятельства. Временное единство места, времени и действия. Провокационная реакция мозга: на сцене. И г р а т ь! И ты играешь, стоишь по стойке «вольно», задрав голову, склеив губы. Не веришь, не верится. Нетерпеливо вытягиваешь вперед руки, театрально-лихорадочно перебираешь пальцами, будто наткнулся в темноте на стену, будто ищешь входную дверь. Будто ищешь и будто находишь. Будто — в Берлине. Да, ты — в Берлине. Действительно. Чистый — и не принеся с собой следов

так быстро забытого ортодоксального прошлого. Будто в целостности упавший с подвешенного пасмурного неба. Будто в сохранности вырытый из затоптанной могилы. Так оживают самоубийцы. Без права на воскрешение. Неожиданно для самих себя. Так снимают брачный саван с интимно отреставрированных статуй. Так оживляют. Церемонно и без слов. От восторга ты что есть силы закусываешь толстый слой склеенных губ. Жадно прокусываешь свежую вишневую мякоть. Наслаждаясь, пытаешься улыбнуться. И сквозь боль и свой новый образ загадочно улыбаешься. Как на увеличенной рекламной фотографии. Ты — в Берлине. Хочется экстренной страсти. Хочется экстренного огня. Хочется новых для себя экстренных доказательств. Доказательств своей свободы. Одним взмахом хочется облить себя бензином. С головы до ног. И с этой же улыбкой ловко щелкнуть зажигалкой. Но огонь сейчас бессилен. Сегодня — не его день. Сегодня — твой день. Ты ощущаешь на вкус теплую десертную смесь соли с жженым сахаром. Примитивное, ненасильственное кровопускание стимулирует дополнительный рост эритроцитов. Волна живительного обновления растекается по туго затянутым лимфатическим узлам. Сегодня — твой день. Хочется экстренной страсти. Хочется экстренного огня. Об асфальт не разбивается нечаянно выпавшее из рук что-то, похожее на ампулу. Безобидной шалостью отскакивает на несколько метров в сторону: не моё. Кажется, никто ничего не заметил. В противоположном направлении, мимо экстравагантно высаженных клумб, в стриженую траву летит что-то, напоминающее медицинский шприц. Да, никто ничего не заметил. В венах медленно /прямо пропорционально расширению зрачков и поднятию занавеса/ рассасывается положенная легкая доза отрезвления. Ты заново рождаешься. В который раз. В который раз рождаешься оптимистом. Приблизительно оптимистом. По своей собственной воле. Вопреки собственной воле. Мир проникает в твое доступное «я». Ты пытаешься проникнуть в недоступный, классической формы, мир. Нужно ли для этого разрешение? Ты уже стучишься в дверь. Ты хочешь заглянуть в замочную скважину. Нагибаешься. За тобой никто не наблюдает. Но у тебя нет ключей. Откроют ли тебе? Последует ли затем приглашение? Где ты сейчас? Внутри или снаружи? А может быть, где-нибудь посередине? Тяжелый занавес уже высоко над твоей головой. И поднимается все выше и выше. Ты еще раз убеждаешься: на сцене. Играть! И ты играешь, стоишь, по стойке «вольно», задрав голову, подклеив раненые губы, не требуя от себя никаких усилий. Не голый — как голый. Нелепый и

трогательный. Лишенный последних остатков скудного чувства юмора. К сожалению, твое тело находится пока далеко от городского центра, оно изолировано собственным сознанием и мирно существует на размалеванной всеми красками столичной окраине. Но все-таки уже в новой питательной среде, полной монотонных возвышенных идей и стилизованных благородных деяний. Поэтому первые движения — сама осторожность. По-спортивному тщательно разминая шейные позвонки, движется только голова. Правильно очерченный круг бокового зрения еще не определяет твоего морально-юридического статуса: тебя просто никто не замечает. Ощущение изысканной неприютности. Необходимо что-либо срочно предпринять, чтобы стать своим в не своем окружении.

Необходимо окунуть себя в безупречный порядок, отшлифованный нормами международного права. Без выдвижения предварительных условий. Без предварительных опасений. Авторитетные старые законы наспех отменяются. Коррекция старых законов исключается. Новая конституция не рассуждает. Новая конституция категорически решает. Новая конституция провозглашает... Шляпу и перчатки теперь можно смело выбрасывать. На ближайшую мусорную свалку, за угол. Вульгарно-показным жестом. Без предварительного следствия и решений суда. Без сожаления о том, что они новые. Не вспоминая о том, что они модные. Чтобы освободить руки. Чтобы не отпугивать своим вопросительно-восклицательным видом ожиревших от почтенности городских хозяев и до бесстыдства любопытных гостей. Свобода — не свобода, если ее нельзя измерить степенью вседозволенной активности. Совесть — не совесть, если она не чувствует вследствие этой непредсказуемой активности конкретных угрызений. Тебя, конечно, еще никто ни в чем не подозревает. А значит, не осуждает, не ненавидит и не боится. Тебя не имеют в виду, потому что тебя не существовало и не существует. Хотя ты есть, тебя просто нет. Ни для кого, в том числе и для самого себя. Хотя ты есть, твоя принадлежность еще не определена. Только глухие бодрые марши пытаются заняться детальным прочтением сценария и скрупулезным распределением всех без исключения ролей и сделать тебя своим покорным слушателем. Или покорным зрителем. Или покорным соучастником. Не спросив тебя. Не вникая подробно в степень покорности. Но ты не сопротивляешься и доверчиво прислушиваешься к этому давящему ритму, примеряя к нему свой будущий укороченный шаг. Пока же, что соответствует воображаемой действительности, это — лишь робкий шаг на месте, и

вокруг — много неясностей и подозрений. Все сплетено в кривой венок ожиданий и вопросов. Кто ответит на них? Ответит ли на них непостижимое в своих мотивах время? На чью сторону оно встанет? Или займет выжидательную позицию? Можно ли на него надеяться?.. Свойственно ли ему чувство патриотизма? Что важнее — патриотизм места или патриотизм действия? Чью позицию предпочтет время?.. Тронется ли оно вообще с места?.. Можно наставить еще много вопросительных знаков...

Отсутствие внутри звучания. Отсутствие внутри действия. Отсутствие внутри отсутствия. Конечно, тронется, смещая цинковые пласти. Перепрыгивая с одной пространственной плоскости на другую. По-кошачьи. С хитростью. Сквозь подогретый асфальт уже просачивается рванокипящий туман, затягивая в скрытую пропасть несопротивляющиеся ноги. Освещение очерченной игровой площадки и декораций постепенно меняется. Независимо от обстоятельств. При дневном свете прожектора включаются на полную мощность. Стрелки измерительных приборов зашкаливают. На мгновение. Но этого достаточно, чтобы перепуганные до унижительной смерти ладони болезненно отреагировали самозащитой — крест-накрест. Ты обозленно принимаешь единственно рациональное решение: нужно быстро сменить очки. Нужны темные стекла. Нужно обезопасить и сохранить глаза. Нужно прикрыть первую, разумно дозированную, спровоцированную злость. Нужно ускоренно приблизить вечер. Ты меняешь очки. Чтобы ничто не мешало собираться с новыми мыслями. Наступает искусственная темнота. В оголенной голове бывшие /неправильные/ мысли неожиданно становятся смелыми и раскрепощенными. Отторгнутые новой ситуацией, набирая скорость, с искренним чувством полноценности и полноценным чувством искренности, они готовы сиюминутно, безвозвратно разлететься в еще не знакомом для них безветренном всеконвертируемом пространстве, раздавая налево и направо бесчисленные правдоподобные воздушные поцелуи, украдкой показав тебе на прощание сексульно высунутый во всю свою розовую длину, с загнутым кончиком, язык. И они действительно бесконтрольно разлетаются. В голове действительно становится пусто. Берлин действительно — город.

Берлин — город! Город из городов. Волевой и собранный. Решительный, вопреки своей врожденной расчетливости и умеренной континентальности климата. Волевой, собранный и решительный город. Но молчаливый. С бледным, надменно заостренным, гладковыбритым полупрофилем. И строгим полувзглядом. С агрессивно выпирающими,

отшлифованными скулами. Без намечающегося второго подбородка. С приподнятыми квадратными плечами и тщательно затянутым в черную лайковую кожу античным торсом. С постоянной красно-черной повязкой на левой руке выше локтя. Но безоружный. Безоружный город-гладиатор. Без занесенного над головой меча и нацеленного автомата. Точнее: обезоруженный гладиатор. В центре монументальной арены. В окружении потухших, но когда-то пылавших, связанных между собой массивными цепями, гигантских железных факелов. Точнее: в центре вселенной. Не победитель, не побежденный. Но участник, предпочитающий демонстрировать снисходительный нейтралитет и продуманное спокойствие. Точнее: всегда гордый. Безгрешный, без способности к прощению. Никогда не отступающий от своего мнения. Точнее: всегда правый. Молчаливый, не сентиментальный. Ни за что не меняющий свой отточенный имидж. Еще точнее: вечный. Вечный из вечных. Из уходящих и остающихся. Вечный — в своем всечеловеческом размахе и дисциплинированном одиночестве. Вечный — в омывающих туманах декабрьских дождей и апрельском цвету сожженных деревьев. Вечный — в бредовом жару эротических водевилей и всеночных закрытых партийных празднеств. Вечный — в скрюченных параграфах им же самим написанного кровью закона: вечность — это Берлин!!! И никто не может нарушить этой святой заповеди. Никто не посмеет возразить, даже по ночам, в объятиях собственных рук. Даже в интимных мыслях. Никто не посягнет своим эгоизмом на эгоизм вечности. Только богам суждено здесь умирать и потом воскресать без специального на то разрешения. Вечность природы и природа вечности связаны между собой особым, юридически оформленным, политическим актом. Суть этой связи: вечность — это истинно арийский характер. Это истинно арийский герой. Это истинно арийский город. Город из городов. Волевой и собранный. Решительный, вопреки своей врожденной расчетливости и умеренной континентальности климата. Волевой, собранный и решительный город. С беспощадной преданностью самому себе. С незабытой внутренней лейтенантской выправкой, хотя официально уже давно без отливающих морозным холодом крестов и отглаженного парадного мундира. Такой характер — сплав воли, веры и других прочных металлов. В таком характере — сверхъестественная сила. В таком характере — божья власть. Берлин — город с таким характером. Берлин — город с характером. Суть этого — в его огромном желании жить. Жить всегда. С надеждой

никогда не устать. Берлин — город-бессмертник. Берлин город-герой.

Красота этого самоубийства ниспошлет миру минуту насмешливого молчания.

Только самая талантливая ложь удостоивается заслуженного звания «истинная правда».

Время долго собирало камни... и построило Город. Пришло время разбрасывать камни.

Сладость предательства приходит иногда с опозданием.

Правильность восприятия окружающей действительности зависит от укомплектованности походной аптечки.

$a + b = ab; a + c = ac;$

$ab + ac = abc;$

Когда жажда жить уступает жажде умереть, рождается симфония.

Б е р л и н — г о р о д! Хотя ты видишь его впервые и впервые его непосредственно чувствуешь, он кажется тебе к концу первого совместно прожитого будничного дня уставшим. Временно уставшим. Но без явных признаков и недовольства. Внешне чуть расслабленным, с чуть учащенным дыханием, с чуть нарушенной координацией движений и чувств. Но не злым. С витающим в вечернем летнем воздухе едва уловимым запахом ароматизированного пота. Сегодня он, наверное, не в лучшей форме. Констатируется со стороны: легкое недомогание. Сегодня, видимо, не его день. В календаре-ежедневнике — прочерк. С точки зрения свежести и бодрости. С точки зрения физической уверенности. Возможно, сезонный авитаминоз. Возможно, неудачное расположение планет. И с в е л и к и м и такое случается. Возможно, что-нибудь посущественнее. Тем не менее, ты — в Берлине! А это значит: Б е р л и н — г о р о д. Да, он устал. Но он стоит, и никому не сдвинуть его с места. С его места. Город-спортсмен. Спортсмен-профессионал со статусом любителя. Будто после только что вырванной в тяжелом финальном, без явного преимущества, бою

победы. С пренебрежением брошены на пол боевые боксерские перчатки. С уверенностью исполненного долга. Государственного долга. Наконец-то все кончено. Глубокий, со смыслом, выдох. В перевязанных венами руках — охапка нежнейших кремовых роз, запутанных в трехцветной национальной ленте. На шее — засушенный лавровый венок-петля. Царапающие выпуклую грудь лавровые листья тоже пахнут. Еще одной победой над противником. Хотя и без явного преимущества. Благоухают вперемешку с опускающейся темнотой. Иногда густо и выразительно. В зависимости от направления воздушных волн. В присутствии тысяч и тысяч зрителей. Убежденных патриотов и тонких знатоков спорта. Убежденных знатоков спорта и тонких патриотов. **Н а с т о я щ а я с и л а** оценена по достоинству. **Н а с т о я щ а я с и л а** определила свое место в истории. Кто может поспорить с **н а с т о я щ е й с и л о й**? **Ц в е т ы п о б е д ы** для нового старого кумира и почетная, золотыми буквами, запись в **Г р а м о т е в е ч н о с т и**. **П о б е д ы л ю б о й ц е н о й**. **П о б е д ы б е з ц е н ы**. Боги поражений не прощают. Боги предсказывают победителей. Боги рождают победителей. Боги признают только **н а с т о я щ у ю с и л у**. **Д а з д р а в с т в у е т ц в е т н а ц и**! Принадлежат ли к ней боги? Срочный снимок на пьедестале для газетной памяти мужества. В объятиях богов. Вот он — герой своего поколения своего народа. Герой своего времени своей страны. Цветы в руках хмуро позирующего чемпиона. **Н а с т о я щ е г о ч е м п и о н а**. В строгой жирной рамке на первой странице всех отечественных газет. **О д н а т ы с я ч а д е в я т ь с о т т р и д ц а т ь ш е с т о г о г о д а**. Но продлится эта усталость недолго. Ведь **Б е р л и н — г о р о д**! А это значит, что жизнь здесь без права остановки даже на заслуженный отдых. Без права даже на передышку или замешательство. Занудные марши сменяются завораживающими звуками. Ты вытягиваешься скрипичной струной под духовую мелодию легендарного гимна, приобщаясь телом и не совсем музыкальным слухом к великому новому искусству великой новой истории. Гипноз сопричастности пытается ввергнуть тебя в активную массовость государственного торжества на несколько десятков лет назад. Или на несколько десятков лет вперед. Дурманящий запах лавра будоражит атмосферу. Тысячи и тысячи флагов перекрывают небо. Тысячи и тысячи каблуков отстукивают краткие ответы на краткие команды. Тысячи и тысячи зрителей скандируют: **с л а в а ч е м п и о н у!!! С л а в а с а м о м у с и л ь н о м у!!! С л а в а!!! С л а в а!!! С л а в а!!!** От тебя требуется присоединение к этому празднику.

Требуется твое личное участие в монолитном хоре. Чтобы сделать его более мощным и звучным. Для этого нужно резко преодолеть дистанцию во времени и пространстве. Без колебаний. Одним роковым прыжком. Вперед или назад. Никто не имеет права пренебречь этим событием. Тысячи и тысячи зрителей ждут твоего шага навстречу. Тысячи и тысячи зрителей делают этот шаг первыми. Тысячи и тысячи зрителей жаждут взять тебя в плен. П л е н в плен у. Но ты к нему психологически еще не подготовлен. Ты боишься всемирного шума и твердо решаешь не отрываться от сиюминутной реальности. И отступаешь. Только на один шаг. Да, ты готов с поздравлениями протянуть руку в е л и к о м у из великих. Готов уже окончательно, без оглядки, с признательностью броситься в его мускулистые объятия. Но только сегодня. Только сейчас. Без экскурсов в прошлое и будущее. Только сию минуту. В опустившихся сумерках пока молчаливого города. И, нащупав во внутреннем кармане расстегнутого пиджака картонный, перетянутый изоляционной лентой сверток /всё на месте!/, конечно, воодушевленно бросаешься. Его дружеское расположение к тебе сейчас гораздо важнее разных мелких раздражений. Вдруг ты понимаешь, что эту утонченно-назойливую смесь запахов тебе вполне по силам не замечать. Хотя бы из вежливости. Так же, как никто не заметил /или сделал вид, что не заметил/ твоего безвизового пересечения обесточенной в прошлом году границы. Без предъявления трясущегося паспорта и многочисленных штампов-регистраций. Без спокойных, уверенных жестов косящих таможенников и подозрительной сверки с безымянным портретом-роботом. Без чувства обреченной виноватости и принудительно-случайного выворачивания карманов. Без подписанных обязательств перед вынужденным гостеприимством. Без флюорографии на политическую лояльность. Через сплюснутую мирными гусеницами колючую проволоку. Без маскировочных принадлежностей и чрезвычайных мер предосторожности. Не реагируя больше на особенности весеннего вечернего воздуха, сгусток твоего приобретенного страха постепенно рассасывается. Мелко и часто вдыхая свои друг друга взаимоисключающие мысли, ты без любопытства изредка вскидываешь голову, не ища определенности. Шумный фейерверк во славу спорта и любви к Родине продолжается. Но в отдалении. Убедительная, отрывистая, через громкоговоритель — речь продолжает заводить аудиторию до клятв и слез. До вызубренных клятв и счастливых слез. До счастливых клятв и вызубренных слез. Во славу чемпиона и его жертвенной любви к Родине. Во славу в е л и к о г о подвига —

достойного для подражания примера. Во славу подвигов будущих. И тоже в е л и к и х. И тоже достойных для подражания. Многотысячное эхо берет тебя под руку и ведет по улице вдоль передовой праздничной линии этого фронта, по направлению к центру города. Ведет без подробностей путеводителя и подсказок сосредоточенных, ни на что не обращающих вокруг себя внимания прохожих. Ты идешь. О т р е а л ь н о с т и.

С к в о з ь р е а л ь н о с т ь. К р е а л ь н о с т и. Что же на самом деле происходит? Может быть, это происходит не с тобой? Может быть, все это тебе только кажется? Ты пытаешься ответить на свои же вопросы и задерживаешь на несколько секунд дыхание, набирая полную грудь кислорода... Технический обрыв слуха. Ты — в стеклянном пуленепробиваемом саркофаге. Мышцы и кожа натягиваются до предела. В мозгу — сухая баня. Стоп!!! Ты останавливаешься. По инерции покачиваешься. Вперед-назад. Все действительно замолкает. Г о р о д беззвучно кружится в твоей голове. Голова беззвучно кружится в твоём застывшем сознании. Сознание беззвучно кружится между домами и деревьями. Дома и деревья тоже кружатся. Беззвучно. Ты опять возбужденно хватаешься за сердце /точнее: за внутренний карман пиджака/, проверяешь наличие пакета. Или наличие сердца. Нащупываешь и успокаиваешься. Насильно пройдя несколько метров не дыша, ты оглядываешься — ничего особенного. Всё — в полном порядке. Т ы — р е а л ь н о с т ь. Все укладывается в рамки тривиального сюжета для отвлеченного декоративно-суеверного сна. Никто за тобой не следит. Никто тебя не преследует. Ты ни для кого не опасен. Ты попросту никому не нужен. Эти выводы придают тебе логически оправданной дополнительной свободы, возвращают кем-то конфискованную несколько часов назад утреннюю энергию. Без неизвестности последствий твои шаги сразу же становятся ровнее, увереннее, между ними появляется последовательная связь, образующая прочную цепь, и ты уже ничем не отличаешься от обыкновенных молчаливых вечерних берлинских прохожих. Ты идешь по направлению к центру города. Вычерчивая прямую пунктирную линию. Хочется экстренной страсти. Хочется экстренного огня. Х о ч е т с я. Опять хочется. Это — истинная правда. Размахистые дорожные указатели свидетельски подтверждают. Да, ты действительно — в движении. Да, ты действительно — на ногах. Да, ты действительно — в Берлине. Да, ты действительно — на сцене. Бордово-бархатного занавеса не видно. От прожекторов воздух начинает нагреваться. И д р у г о г о в ы х о д а н е т. И г р а т ь!

Б е р л и н — г о р о д ! Эта идея доказана. Исторически и научно. Исторически-научно. Нет, не сегодняшним вечером. Не сегодняшними диалектическими эмоциями и пронизательными впечатлениями. Доказана задолго до твоего надменного здесь появления. Доказана всеми его коренными обитателями и традиционными противниками, завистливыми наблюдателями и бездарными соблазнителями, орденоносными предателями и свергнутыми конформистами, заезжими джентльменами и болезненными футурологами, заслуженными социалистами и зараженными проститутками, ревнивыми самоубийцами и инфантильными вождями, перебинтованными солдатами и застиранными кошками, бывшими герцогами и пивными алкоголиками. Всеми предшественниками обитателей, противников, наблюдателей, соблазнителей, предателей, конформистов, джентльменов, футурологов, социалистов, проститутток, самоубийц, вождей, солдат, кошек, герцогов, алкоголиков. Всеми предшественниками предшественников. Всеми предками предков. Лишенных и не лишенных индивидуальности. В соперничестве друг с другом каждый из них утверждал /сумбурно и подробно/ свою материалистическую идею. А вместе с ней и сам г о р о д . Готовясь к войне друг с другом, каждый из них готовился к его защите — своей обороне. Разрушая г о р о д , они все его укрепляли. Превращая его в коммунальную крепость, они все в нем прятались. Они все его любили и им же подчеркнуто пренебрегали. Они все его ненавидели и за него держались. Они все не отдавали за него свою жизнь, а иногда случайно или по ошибке, в вооруженной злобе, эту жизнь теряли. Сколько крови и чернил было потрачено на публичное коллективное доказательство. Сколько счастливых лжесвидетельств были удостоены почетного гражданства. Сколько твердого гранита и хрупкого мрамора ушло на украшение кладбищенских полей. И м и т а ц и я р е л и г и и . И м и т а ц и я в е р ы . И м и т а ц и я с л а в ы . И м и т а ц и я Б о г а . Но город имитацией не был. Он сам для себя был религией, верой, славой и Богом. Он сам из себя сотворил себе кумира. Он определял время, а не время определяло его. Он приговаривал к смерти, а не смерть властвовала над ним. Он не плыл по окрашенным течениям, он оставался между ними неприступной белой стеной — вечно революционным монументом, имитируя вокруг себя человечество. Под неистребимую еврейскую музыку Арнольда Шенберга. И никакие переделы границ и в е л и к о г о статуса малыми мобилизациями не смогли уничтожить в сознании истерзанной природы то, чему суждено жить в е ч н о — главному условию всех официально

признанных Игр — доказательству доказательств: Берлин — город!

Берлин действительно — город. Независимо от придуманности погоды и освещенности времени суток. Независимо от многолюдности сцен и романтичности декораций. Независимо от оригинальности режиссерских находок и отрешенности актеров. Независимо от тебя. Берлин — независимый город. Ты, кстати, тоже ни от кого не зависишь. Ты независимо идешь по Берлину. Молча. Спрятав руки в глубоких карманах брюк. Стиснув в кулаках возмужавшую за день свободу. Ты молчишь. Ты боишься полноты новых знаний и ощущений, которая в любую минуту может обернуться опасным пресыщением. Что делать тогда? Что делать со своей свободой? Назад пути нет. Скрываться? Где? От кого? Кому пожаловаться? Ты отрезвляюще встряхиваешь головой, как налитым доверху застольным стаканом. Без здравицы. Отпиваешь глоток до приторности возбужденного рассудка. Комом проглатываешь. Нужно дойти до центра города, а там — передохнуть. Нельзя забывать, что ты — в Берлине. Это должно не только восхищать, но и успокаивать. Нужно обязательно дойти. Ты не останавливаешься. Проходишь несколько метров с запрокинутой головой. Проплываешь брассом короткий отрезок дистанции. Фотовзгляд охватывает всю сферу изрезанного бегающими желтыми полосами неба. Дождя, кажется, не предвидится. Жаль. Как не хватает сейчас во рту кусочка подтаявшего льда. Как не хватает свежести холодной минеральной воды. Как возмущенно и настойчиво проталкивается на поверхность жажда. Нужно присмотреть какой-нибудь поуютнее бар. Желательно без музыки. Нужно зайти на часок, передохнуть. И может быть, поразвлечься. Да, хочется экстренной холодной страсти. Да, хочется экстренного холодного огня. Медленными круговыми движениями языка ты облизываешь стянутые подсохшие губы и замечаешь, поправляя указательным пальцем очки, что ближе к ночи людей на улицах разгуливает все больше. Не парами. Поодиночке. Вразвалку. Ты — один из них. Ты — смешиваешься с ними. Ты — не отличаешься от них. Но, выпрямив спину и став частью толпы, ты себя никому не противопоставляешь. Ты идешь туда, куда эта вальяжная толпа тебя влечет. /Направление, слава Богу, совпадает с твоим./ Даже пытаешься подладиться под шаг окружающих. Увы, не совсем получается. Тебя все время обгоняют. Ты постоянно отстаешь, теряя из виду только что шедших впереди. На их месте появляются спины новых в орнаментах кофт и широких стильных пиджаков. Потом и они безнадежно исчезают. Навсегда. Независимо

о т т е б я. Так ты продвигаешься к центру. Так центр продвигается к тебе. Еще несколько усилий, и твоя главная цель будет достигнута. Правда, тебя там не ждут. Ты же ждешь этой встречи. Ради которой существует сегодняшний день. Ради которой устроен всегородской театр. Стационарный уличный театр. Главная роль в нем отведена г о р о д у. Городу, который заслужил право называться г о р о д о м. Городу, который прославил свое имя. Чья история неподвижно и навеки вросла в землю. В эту минуту ты окончательно сливаешься с г о р о д о м. Что из этого получится, еще не знаешь. Но в одном — уверен: Б е р л и н — твой г о р о д. Б е р л и н — г о р о д!

В обреченном поиске противоположности смерти.

Ошибается тот, кто считает ложь временной категорией.

Чтобы саморазрушиться, Городу требуется заданное время. Человеку же свойственно торопиться.

«Berliner leben Berlin erleben»

Нет ничего более порочного, чем неуважение собственных пороков.

Сколько камней нужно бросить в небо, чтобы изобразить звездопад?

Любое преступление, совершенное под музыку, облагораживается.

П о с с е к е л ь и д е т п о Б е р л и н у. Поссекель идет по городу. Навстречу приставленной к небу, распухшей от розовых пятен луне. Который сейчас в Берлине час? Есть ли разница во времени между Берлином и остальным миром? Есть ли между Берлином и остальным миром связь? Поссекель по-деловому достает из кармана сжатую в кулак левую руку. Взмахивает. Но. Пауза. Наручные часы остановились. Наручные часы со старым временем лишены признаков жизни. Недоумение. Недоумение и попытка. Недоумение, попытка и бессилие. Недоумение, попытка, бессилие и растерянность. Никакие суетливые старания не могут привести их в н о в о е движение. Бесплезно приставлять вплотную к уху горсть омертвевшего металла, крутить стрелки в разные стороны. Бесплезно угрожающе всматриваться в циферблат. Бесплезно надеяться

на соскочившее с подножки поезда прошлое. Всему свое время. Старые часы — вне времени. Старые часы — вне закона. Не имея никакой эмоциональной и исторической ценности, они сразу же становятся помехой, и их можно без продолжительной злости и сожаления выбрасывать в ближайшую урну. Наверное, остановились утром. А может быть, еще вчера. А может быть, намного раньше. Сейчас это уже не имеет прикладного значения. Поссекель не расстраивается. Только игриво вздыхает. Поссекель надеется. Даже себе подмигивает. Делает вид, что чувствует себя уверенно. Он перебирает повелительным взглядом светящиеся вокруг него настенно-наскальные изображения и надписи. От невзрачных до горящих в полный человеческий рост. Из всей бессмысленности запутанных реклам выбирает одну — рекламу времени. Он — единственный, кого оно сейчас интересует. И единственный, кем оно сейчас интересуется. Табло на башне показывает 22.30. Электронное время сменяет его же электронная температура +15°C. Электронную температуру воздуха /времени/ сменяет электронный календарь: 16 августа. Исчерпывающая бесплатная информация. Значит, не так уж поздно. Значит, ночь — впереди. Значит, 17 августа — впереди. Значит, всё — впереди. Перспектива получает реальное подтверждение. Реклама времени Поссекеля удовлетворяет. Он, удовлетворенный и мучимый жаждой, идет по городу. Очень хочется пить. Периодическое облизывание обтянутых плотным нейлоном губ, самоуспокаивающие намерения и однообразные обещания уже не помогают. Вальяжный шаг естественно укорачивается. Постепенно. Естественно укорачивается и терпение. Выдвигается ультиматум. Самому себе: пить хочется сейчас. Весьма кстати — у завешенного откровенными афишами круглосуточного кинотеатра — открытая безлюдная спанк-палатка. С восточным именем хозяина на оранжевом брезентовом козырьке. С дурманящей восточной музыкой. С восточными, вызывающими рвотный рефлекс, дешевыми ароматами. Очень хочется пить. Сейчас. Сию минуту. Терпение истощается. Терпение истощается на глазах. Терпение истощается на глазах у г о р о д а. Терпение = 0. Пренебречь этим нельзя. Ведь торопиться некуда. Нужно только на несколько вдохов пересилить свое обостренное обоняние. Нужно купить банку любого прохладительного напитка. Без капризного выбора. Без брезгливого упрямства. Поскорее. Нужно поскорее отсюда уйти. Смазливо-усатая физиономия продавца предлагает. Вращающиеся черные гороховые глазки перебирают. Высоконотные звуки, отдаленно напоминающие человеческую речь, расширяют образ

восточного гостеприимства. Обмен двух запотевших банок на звенящую, с акцентом, мелочь производится мгновенно. Первый выстрел — шипящая ледяная коричневая жидкость полностью выливается в бездонный оцинкованный сосуд. Громкими водопадно-жадными глотками. Ощущения и вкус сравнимы с кипящей соляной кислотой. Разъедающая стенки желудка жажда переходит в ожившую приглушенную гастритную боль. Пока далекую, но вновь реально существующую. Ритуал окончен. Оплаченная вторая банка выстрелит позже, вторично проданная следующему покупателю. Она остается на оранжевом прилавке невостребованной. Приглашение заглянуть сюда как-нибудь еще вызывает отвращение.

Как вызывает отвращение и убогающе-омерзительная улыбка продавца. Как вызвал отвращение по-восточному прохладительный напиток. Как вызывает отвращение ударяющий размашистой пощечиной вульгарный призыв посетить десятиместный круглосуточный кинотеатр. Как заранее вызывают животное отвращение все его нескончаемо-закомплексованные многосерийные фильмы. П р и л и в т р е п е т н о г о о т в р а щ е н и я . И с п ы т а н и е в о з в ы ш е н н о г о о т в р а щ е н и я . Э ф ф е к т в о ж д е л е н н о г о о т в р а щ е н и я . Очертив свободной ногой-циркулем жесткий балетный полукруг, Поссекедь разворачивается на 180°. Лицом к беспричинно притихшему зрительному залу. Молчание и отсутствие аплодисментов. Т е х н и ч е с к и й а н т р а к т . Поссекедь вытирает носовым платком подслащенные влажные коричневые губы и, прижав пальцами нос, придает своему шагу логическое ускорение. Вон отсюда!!! Вон из похотливо-вылизанного спасск-закоулка! Вон на свежий воздух! Поскорее! Поссекедь продлевать прерванный маршрут. Главное противостояние с повестки дня пока не снято. Не вычеркнут за выполнением основной ее пункт. Жажда — не утолена. Нет. Она — раздавлена. Агрессивно и варварски. Вопреки всем законам гуманной терапии и физической морали. По вине предательского нейтралитета инстинкта самосохранения. При этом ничего не меняется. Пить все равно хочется. Лучше бы добрался до приличного заведения... Там было бы все по другому... Там можно было бы и отдохнуть... И, может быть, поразвлекться... Нужно, нужно поискать что-нибудь попримечнее... Возмущенный, но внешне спокойный Поссекедь идет по городу. Сколько времени он уже здесь? Сколько часов подряд он уже на ногах? Последняя объективная информация была на электронном табло: 22.30. Прошло всего минут тридцать. Плюс пять минут т о т а л ь н о г о отвращения. К полуночи он

должен добраться до центра. Полночь нужно встретить с бокалом в руках. С бокалом божественного напитка — холодной минеральной воды без газа. Сидя на удобном стуле. Облокотившись на покрытый свежей, белой, в красный горошек, скатертью стол. Полночь придется встретить в одиночестве. А может быть, удастся поразвлечься. С этой мыслью Поссекель прибавляет скорость. С этой мыслью Поссекель целеустремленно идет. С этой мыслью Поссекель идет по городу.

П о с с е к е л ь и д е т п о Б е р л и н у. Никто не смотрит ему вслед. Никто не проклинает. Никто не благословляет. Фиолетовое освещение по транспорту прямого широкого проспекта придает щетинистому лицу таинственную романтичность. Свежеуложенные на ходу волосы зачесаны набок и чуть приподняты встречным западным ветром. Туго затянутый, из натурального шелка, поводок-галстук значительно ослаблен, но внешний вид по-прежнему традиционно элегантен. Зеркальное отражение черных стекол почти квадратных очков прячет глаза от воскового равнодушия прохожих. Август получает подкрепление. Что сюда его привело? Что он здесь делает? В этом чужом фиолетовом городе? С чужим фиолетовым лицом. В чужом фиолетовом настроении. Допустима ли импровизация в сюжетной линии? Можно ли плыть в стороне от водоворота? В каком стиле /каким стилем/ продолжать плавание? Нет, такая постановка вопросов, наверное, неуместна. П о с с е к е л ь — с в о б о д н ы й ч е л о в е к. П о с с е к е л ь — г р а ж д а н и н м и р а. Он может находиться в городе, когда и сколько этого пожелает. Без докладных записок и объяснений. Если этого пожелает сам г о р о д. Два цельных мужских характера. Два главных действующих героя. Две исторические реальности. Знак равенства из знака математического превращается в синтаксический — конструктивно-соединительный. POSSEKEL = BERLIN. Бесконфликтность скрытых мыслей определяет бесконфликтность отношений. Основной нюанс: п о о б о ю д н о м у с о г л а с и ю. С обоюдной ответственностью. Поэтому Поссекель спокойно, не пожимая плечами, идет по проспекту, а летний вечер спокойно и добровольно распахивает свои космически необъятные объятия. Временно все удовлетворены. Очередной в черте города временный вечный мир. Мир — не как следствие окончания войны. Мир сам по себе. Мир в абсолюте. П о с с е к е л ь — п о ч е т н ы й г о с т ь Б е р л и н а. На зависть непочетным коренным жителям. Но об этом никто не узнает. Почетное звание трансформируется в почетную тайну. И почетная тайна тайной умрет. Без

почетных похорон. Еще до наступления утра. Полночь же приближается с каждой секундой. Правая рука напоминает о себе внутреннему карману пиджака. Слава Богу, всё на месте. Запас насильно задержанных в голове мыслей /НЗ/ полностью исчерпан. Остается только зайти в первый попавшийся бар и собраться с новыми мыслями. С о з н а т е л ь н о. Подсчитать разбросанные по всем карманам деньги. С т о ч н о с т ь ю. Побороть где-то внутри застрявшую навязчивую физическую боль. Б е с к о м п р о м и с с н о. Напиться вдоволь холодной воды. С ж а д н о с т ь ю. Получить неожиданные наслаждения. Б е з г р а н и ч н о. Умереть от удовольствия. Б е з г р е ш н о. Кажется, всё. Ничто не забыто. Время торопится к двенадцати часам. А что, если приближающийся конец проспекта — еще не центр города? Нужно торопиться. По левую руку бенгальские блиц-витрины чередуются с неосвещенными дверьми. Мелкие надписи над ними: «бар» — уверяют, что именно в одну из них нужно войти. Без стука. Без приглашения. Без стеснения. Не медля. С целым комплексом естественных и противоестественных намерений. Какую дверь открыть? Они все одинаковы. Поссекель перед выбором. Нужно обязательно попасть туда, где — тишина и его ждут. Не ошибиться бы с уютом. Хочется почувствовать себя как дома. Не торопиться. Хочется поманерничать. Не одергивать себя педантичными замечаниями. Не отвлекаться на посторонние сюрреальности. Хочется почувствовать себя уважаемым гостем. Побольше уделить себе неожиданного чужого внимания. Хочется полноценной раскованности и чуть-чуть хорошо сыгранной лести. Хочется чуть-чуть фамильярных вольностей. Оплата гарантируется. Наличными. Хочется, правда, и гарантированного наличного качества. Независимо от наличных обстоятельств. Независимо от цены. В с ё п р о д а е т с я и п е р е п р о д а е т с я. В с ё о к у п а е т с я. Упираясь грудью в воздушную каменную стену, Поссекель озадаченно останавливается. Поссекель смотрит вперед. Фиолетовый проспект беспрепятственно вливается в заваленную орущими машинами фиолетовую площадь. Вот оно, фиолетовое слияние реки и океана. Не по-ночному маниакально активный гул поднимается вверх, растворяясь в освободившемся фиолетовом пространстве. Ничто больше не подпирает луну. Она вот-вот без спроса и разрешения свалится городу на голову. Она вот-вот перестанет угрожать: угроза сбудется. Поссекель в ожидании смотрит на луну. Луна базедовым взглядом смотрит на Поссекеля. Поссекель оглядывается по сторонам. Со всех сторон стекаются гуляющие люди. Поссекель смотрит

себе под ноги. Стойка ног подчинена ситуации. Пятки — вместе, носки — врозь. В нескольких десятках метров от Цели. Он мысленно по-пластунски проползает финишный отрезок. В пиджаке, при галстукe, надушенный одеколоном. Самоотверженно разрывает бледно-розовую ленту. Замедленная съемка с многократным повтором. Победно поднятые кулаки. Рубеж достигнут под ехидные аплодисменты горожан и гостей города. Рубеж взят. Поссекель доходит до Берлина. Взятый без штурма город не капитулирует. Не отбивается последними бессмысленными ударами из-за угла. Не прячется от страха в своих отдаленных узких переулках. Город ревниво встречает гостя. По всем правилам цивилизованного этикета. С поднятым искрящимся трехцветным флагом. Флаг — тиражированная гордость и других городов. Но сегодня он представляет честь Берлина. Цветов пока нет. Но они обязательно будут. Город тоже кое-что гарантирует. У него даже есть маленькие сюрпризы. Но это все будет потом. Сейчас же Поссекель поворачивается лицом к бару. Достаточно только протянуть руку, вежливо толкнуть дверь, и город впустит его в свои кладовые тайны. Поссекель делает шаг к двери. Бар выбран. Из сотен других. К этой двери, возможно, его влечет судьба. Поссекель протягивает руку. Поссекель подсознательно ощущает полночь. Подсознание и рука Поссекеля вежливо толкают дверь. Дверь открывается. Поссекель — в баре.

В войне победителей не бывает. Человеку всегда не хватает беспощадности.

Если на улице Вам встретится голый прохожий, от него можно ждать правды.

Любовь — это смерть. А смерть при жизни недоступна.

Отчаянный крик о помощи может услышать только сам кричащий.

Страсть к возмездию — это попытка отомстить Истории.

... и, умножив на коэффициент чувственности, получаем результат.

Тебе смешно, но мне сегодня снился Шостакович.

Поссекель — в баре. Он наглухо закрывает за собой входную дверь. Подвижную бронированную, словно по законам военного времени. С замочной скважиной только изнутри, но без ключа. С крепкими тяжелыми кольцами-петлями, но без висячего замка. Железная дверь намертво отрезает от городского дыхания и фиолетового света. Убедительным хлопком закладывает уши, избавляя от городского шума. Слепое зрение становится основным источником возбуждения. Первые трясущиеся движения наощупь не приносят радости. Воображение подбадривается образной таинственностью. Ему подыгрывает почти солдатская смелость. Темный наклонный коридор без предупредительного перехода цилиндром вытягивается в узкую темную лестницу. Приходится наклонять голову. Почтительно откланиваться. Вытянутые в стороны и вверх руки упираются в сырой овал стен. Количество рук время от времени увеличивается. Каждый осторожный шаг сопровождается резким продолжительным эхом. Каждое резкое продолжительное эхо сопровождается еще одним эхом, кратким и приглушенным. Тоннель. Бомбоубежище? Приходится шепотом считать спотыкающиеся ступеньки, так как надежда на появление признаков жизни обнаруживается не сразу. Сначала нулевая точка отсчета медленно превращается в яркое световое пятно-отверстие, и лишь затем, испытывая даже безграничное терпение, разрастается до нового дверного проема. Круглого и без двери. Эхо становится всё бессмысленнее и исчезает совсем. Последняя ступенька вываливается вместе с Поссекелем из цилиндра в просторный, тихий, средневековый по форме, обставленный под современную старину зал ресторана. Поссекель останавливается. Без мыслей об отступлении. Медленно разглядывает каждый градус ограниченного каменными стенами круга. Патологическая тишина. Ни души. Это — никакой не бар. Это — обыкновенный пустой ресторан. Два десятка покрытых свежими, белыми, в красный горошек, скатертями столов. У каждого — по четыре отремонтированных стула в ожидании. На одном из столов у стены стоит громоздкая черная металлическая ваза с букетом распустившихся пурпурных роз. Вот и обещанные городом цветы. Значит, зал был специально подготовлен. Значит, стол был заказан. Значит, гости ждали. А может быть, уже заждались. Поссекель одобряет взглядом расположение своего стола. Одобряет висящую над столом в громоздкой черной металлической раме картину. Черный квадрат на малиновом фоне /в сантиметрах: 40x40/. Выбирает интеллигентным движением бровей законное, одно из четырех, у стены, место. Но не

садится. Продолжает убежденно стоять. Начинается арифметическая игра. Определение ее условий и порядка. Поссекель надеется в этой игре предугадать. Четыре минус один. Математическая импровизация. На тему соблазна и предвкушения страсти. На тему предстоящей ночи. На свободу тем у. Три плюс один. Три места пока остаются вакантными. Трое пока отсутствуют. Взглянуть бы хоть одним глазом на претендентов. Владеют ли они чувством юмора? Был ли проведен конкурс для отбора кандидатов? Может быть, в этом и заключается загадка города с кого сюрприза? Интересно, на что способен город? Впишется ли его закаленная фантазия в подземный обывательский интерьер? Поссекель сосредоточенно стоит. Перед ним — его новый временный приют. Поссекель размышляет. На стенах в одну линию, как в галерее, развешены и другие, в таких же рамах, картины, но их содержание издалека не разобрать. Похоже, все они — черно-белые. Кроме одной, над его столом. Над его заказанным столом. К остальным он подойдет поближе. Нужно познакомиться со здешним искусством. Только для начала, правда, нужно вдоволь напиться холодной воды. Поссекель по-посетительски небрежно оглядывается: действительно, вокруг никого. Наверное, самообслуживание. Ни официанта, ни бармена, ни шума с кухни. Самообслуживание. Без любопытства пройдя мимо приоткрытой двери на кухню, он подходит к стойке бара, заходит за нее и вытаскивает из забитого холодильника пластиковую полуторалитровую бутылку минеральной воды без газа. Наконец-то. Наконец-то наступает блаженство. Блаженство и легкий озноб. Легкий озноб и долгожданная свобода. Ради этого стоило сюда идти. Ради этого стоило спуститься в ресторан-бомбоубежище. Ради этого стоит сделать паузу в сценарии. Поссекель от удовольствия закрывает глаза. Будто молится. Будто замаливает свои будущие грехи. Будто забывает все предыдущие. Минеральная вода обильными слезами стекает с жадных губ на застегнутый пиджак, капает на горбящийся каменный пол. О чем он сейчас думает, не знает никто. Самое главное, что эту картину никто не наблюдает. Или?.. Поссекель и утоляющий аляжа жда. Один на один. Без предрассудков. Но пауза в сценарии длится недолго. Она не запрограммирована и заканчивается полноценным, от души, вздохом. Но не досадно-печальным, а концентрирующим в себе все физические силы и внимание. Откашливаясь, Поссекель достает из кармана бумажку, обозначающую деньги, и кладет на барную стойку рядом с отпитой бутылкой. Оплачено! Своевременная

плата — залог хорошего расположения к клиенту. Оплачено. Кстати, нужно пересчитать сбережения. Мысленно отконвертировать их в свои потенциальные возможности. С учетом особенностей вкуса. С учетом издержек на невозможность. С учетом нравственных последствий. И собранные из всех запасников, они общими усилиями сытно и неуклюже оттопыривают теперь левую половину брюк. Денег более чем достаточно. Можно чувствовать себя уверенно. Расслабиться. Можно пытаться грешить. Можно без робости прогуляться по пустому залу и посмотреть местную выставку живописи. Прямо здесь же, слева от стойки, висит ближайшая к Поссекелю картина. Название: «Возвеличивание самозванца». Что на ней изображено, можно определить лишь условно. Навал искаженных черных теней и парящая в воздухе отрезанная черная человеческая рука. Черные пальцы сжаты в черный кулак. Лужа черной крови. Наличие черных теней предполагает вынужденное наличие яркого света. Борьба черных и белых символов? Тени же исчезнут только вместе со светом. Иначе быть не может. Оптимистический фатализм? Или законспирированный реализм? Следующие картины отличаются от предыдущих только измененными формами контуров теней и названиями. Рука присутствует везде. Как и лужа крови. «Благословение через повешение.» «Отречение от мужества.» «Импровизированное бесславие.» И так далее. Заключительная, одиннадцатая по счету, надпись к последней картине: «Последний день Города.» Что это? Призрачная история Берлина? Или физиологический взгляд на историю из подполья? У картины над своим столом Поссекель не останавливается. Он это сделает позже. Специально. Перед тем, как сесть на свое законное место. А всё увиденное профессиональному анализу и выводам не подлежит. Это — чужая личная жизнь. Личная же жизнь Поссекеля находится во внутреннем кармане пиджака. Завернута в бумагу и перетянута изоляционной лентой. Пора доставать. Реальная действительность постепенно приобретает бессмысленность, начинает надоедать. Левая рука тянется к сердцу. Сердце тянется левой рукой к карману. Карман выворачивает свою внутренность. Поссекель с пакетом подходит к своему столу. Поссекель выбирает стул у стены, чтобы можно было расслабленно прислониться. Стул молчаливо соглашается с молчаливым Поссекелем. Картина над заказанным столом называется «Портрет гостя». Всеобщее согласованное молчание. Стоп-кадр.

С т о п - к а д р. Черный квадрат на малиновом фоне — напротив

черных очков. «Портрет гостя» — на зашпаклеванной каменной стене. Поссекель — перед зеркалом. По чужой воле. Он пытается представить себя на малиновом фоне. Не получается. И, наверняка, не получится. Название его не удивляет, как не может удивлять не принимаемый близко к сердцу откровенный абсурд. Это всё — случайное совпадение случайных обстоятельств. Это всё — не о нем. Это всё — из чужой жизни. Во-первых, что может быть сходного между примерно шестьюстами квадратными сантиметрами черной матовой краски и внешностью посетителя, пришедшего в этот ресторан добровольно и совершенно незапланированно. Ведь он мог открыть любую входную дверь из сотен одинаковых... Он мог пройти мимо... Он мог пойти по другой улице... В конце концов, стол мог быть подготовлен и в любом другом заведении... А может быть, они подготовлены во всех сразу?.. А может быть, здесь ждали другого человека?.. Завсегдатая?.. Поссекель не находит логики и объяснений. Здесь изображен другой человек. И фон, между прочим, выбран неудачно. Малино-вый. Поссекель не находит с «Портретом» ничего общего. Ни с первого, ни со второго, ни с третьего пристального взгляда. Общей может быть только какая-нибудь отвлеченная внутренняя идея, которая пока неподвластна констатации его протестующим мозгом. Общим может быть еще цвет волос. Или цвет глаз через стекла очков. И ничего другого. Поссекель уверен, что цвет его мыслей другой. Поссекель уверен и в другом цвете своих намерений. Поссекель вооружен силой неоспоримых аргументов. Поссекель уверен в своей правоте. **П о с с е к е л ь — у в е р е н.** Во-вторых, почему квадрат?.. Разве столь одномерно и плоско его восприятие окружающего мира?.. Разве столь одномерно и плоско его восприятие окружающим миром?.. Разве существует в его характере геометрическое равновесие между различными его сторонами?.. Поссекель считает, что его натура куда более асимметрична, хотя бы чуть-чуть разноцветнее. Поссекель, на свой взгляд, обладает достаточно богатым воображением. Но ему чужда данная интрига. Поссекель бессилен перед данной абстракцией. Она не вызывает положительных эмоций. А значит, не имеет права называться **и с к у с с т в о м**. Посмотреть бы хоть мельком на автора этой картины. Поссекель заранее не проявляет к художнику и его образам дружественных чувств. Не является поклонником его таланта. Поссекель оставляет за собой право на решающее критическое слово. Никто не может его обвинить в слабых характеристиках. Поссекель — конкретно мыслящий человек. **П о с с е к е л ь — р е а л и с т.** Так убежденно считает сам Поссекель.

Реалист Поссекель, держа в руках реальный пакет, садится на реальный стул, за реальный стол. Он хочет заняться реальным делом. Как следствие, ему нужно реальное удовлетворение. Отрывание изоляционной ленты от упаковочной бумаги тянется аккуратно и медленно. С тщательностью и продуманностью японской чайной церемонии. С наполнением сладковатой слюной пересохшей полости рта. /Минеральная вода, оказывается, тоже не помогает./ Со сдержанным трепетом и скрытым от сознания восторгом. Гость сам себе предлагает одноразовый шприц и скользящую в сухих руках плановую ампулу. Остальные четыре шприца и четыре ампулы прячутся назад в карман. На последующее потом. Перед Поссекелем — его вечернее /ночное/ блюдо. Оно предотвратит появление чувства голода. Оно гарантирует чувство вечной сытости. М о ж н о приступить! Поссекель крепко зажмуривается, а затем резко стреллет взглядом вверх, через правое плечо, на твердо подпирающую его спину стену. На малиновом фоне — без изменений. «Портрет гостя» — это обыкновенная попытка насилия над незащитным зрителем. С Поссекелем этот номер не пройдет. Он умеет пренебрегать. Окончательно отторгнутые шестьсот квадратных сантиметров черной краски без задержки превращаются в один кубический сантиметр прозрачности. Для поддержания формы. Для помощи в обязательном осуществлении всех задуманных желаний. Острые пальцы нетерпеливо отламывают острие запаянной ампулы. Будто впервые в жизни. Торопливо и неумело. Нервный шприц жадно вытягивает из нее всю слезную жидкость. Треснутое, с заусеницами, стекло ловко отбрасывается указательным пальцем к отодвинутой ближе к стене вазе с жизнерадостными цветами. Так оно пролежит в покое три с половиной часа. Пока же в развитии сюжета оно участия не принимает. Оно выпадает из поля зрения. Д о в о с т р е б о в а н и я. Все мышцы — наготове. В ожидании действия. Все мысли — в надежде. Предвкушая стимул. Звук проколотой газетной бумаги вводит иглу в вену, как в свежее испеченный, с корочкой, бисквит. Левая рука доверительно расслабляется, зная, что только через нее электрический раствор может разлиться по всему нуждающемуся телу. Легкая горячая прохлада приклеивает рубашку к напряженной спине. Мокрая спина цементирует все конечности в сосредоточенную скульптуру. Изобразительное искусство длится четыре полных секунды. Всё... До последнего миллиграмма. Большой палец правой руки выжимает из шприца последнюю каплю. Всё... Объем крови увеличивается на один кубический сантиметр жидкости. Всё... Мозг управляет всеми

операциями очень четко. Всё... Сработано чисто. Сработано стерильно. Высокое качество самообслуживания. Всё... Мозг четко управляет ситуацией. Поссекедь четко управляет мозгом. Ситуация четко управляет Поссекедем. Припасенный скатанный ватный щипок останавливает проявление крови. Опять отсчет до четырех — и как будто ничего не было. И, на самом деле, ничего не было. Через несколько минут использованный шприц и красная точка на клочке ваты заворачиваются в носовой платок и прячутся в пустой карман пиджака. В этом месте сценария и выпадает из поля зрения треснутая ампула. Рядом с вазой она остается незамеченной. Пока. Небрежно застегивается рукав рубашки. С улыбкой поправляется галстук. Действительно, ничего не было. Поссекедь оглядывается вокруг. Всё — по-прежнему. Поссекедь даже хочет поменять черные очки на обыкновенные белые. Чтобы снять лишнюю загадочность со своего внешнего вида. Чтобы светлее взглянуть на окружающую обстановку. Чтобы еще раз посмотреть на картину над головой. Может быть, что-нибудь изменится? Может быть, не всё так безнадежно? После некоторых раздумий Поссекедь меняет очки. Точнее, Поссекедь успеваеьт поменять очки. При свете. Так как неожиданно, без предупреждения, гаснет свет... На Поссекедья обваливается абсолютная темнота. Чернее любого черного квадрата. Без какого-либо цветного фона. Без претензии на портретность. Без экскурсов в философию и абстрактность. Конкретная реальная абсолютная темнота. Ф и з и ч е с к а я. Поссекедь растворяется в ней. Но временно. Он еще появится на свет. Вместе со светом. Он еще заявит о своем существовании. Поссекедь на это надеется. Поссекедь — верующий человек. П о с с е к е д ь — ч е л о в е к. Со стороны кухни скрипит приоткрытая дверь. Из-за нее, раскачиваясь, крадучись, вытягивается трясущаяся малиновая тень. Из того же угла по ногам потягивает колючим сквозняком. Кажется, кто-то идет со свечой, прикрывая ее рукой. Кажется, в каком-то дальнем помещении идет репетиция симфонического оркестра. Кажется, насилуют Шостаковича. Кажется. Седьмую симфонию. Кажется, кто-то не в такт шаркает сапогами. Кажется, становится страшно.

Если моя смерть принесет кому-то пользу, значит моя жизнь будет оправдана.

Не надо смеяться над ложью. Она уж умеет смеяться последней.

Боль всегда стремится к совершенству. Когда без боли жить невыносимо.

Соблюдение всех законов карается по Закону.

Если операцию на человеческом мозге провести без наркоза, то можно поприсутствовать при рождении глупости.

От перемены мест слагаемых нужная сумма все равно не получится.

Траурный марш — это оргазм наоборот. Только намного длительнее.

Я со страхом появляюсь на малиновый свет. Я появляюсь. Сердце стучит нехотя, аритмично, с непредвиденными паузами, заикаясь. Как испорченные часы. Но намного сильнее и громче обычного. Эхо тяжелых металлических ударов накапливается где-то наверху, в одном из углов, под невидимым потолком. Возможно, для последующего взрыва. А может быть, для устрашения. А может быть, для самозащиты. В мою сторону сквозь темноту движется дергающаяся малиновая тень. Без предупреждения. Без моего согласия. Медленно. Будто с остановками для отдыха. Создается впечатление, будто ее толкает впереди себя идущий человек. Будто он хромает. Со свечой в руках. Прикрывая ладонью ее то затухающее, то вдруг чуть вспыхивающее малиновое пламя. Высокий размазанный силуэт постепенно наводится на оптическую резкость. Мои глаза начинают привыкать к обстановке. Да, это действительно человек. Нет никакого сомнения. Как нет никакого сомнения, что направляется он ко мне. Не может же он пройти мимо меня. Отступить некуда. Я ощущаю каждый грамм панического страха, давящего на мою уравновешенную / с моей точки зрения / психику. Я ощущаю каждый квадратный сантиметр / из тех шестисот?! / своего обеспокоенного сознания, подвергающегося этому непосильному давлению. Я ощущаю реальное / в моем понимании / соотношение сил между природой Банальности и природой Невозможности. Я не могу подняться над происходящим. Я не могу убежать. Я даже не могу отойти в сторону. Я приклеен к стулу и стене. Всеми существующими и несуществующими в моем воображении силами. Я — н е м о щ е н. Я не могу определить перспективное развитие событий в безопасном для меня направлении. И гордость моя —

н е м о щ н а. Вывод: самое разумное сейчас — не совершать поступков. Никаких. Даже разумных. И разум, и его одновременное отсутствие могут привести к одинаковому результату — полной потери контроля над собой. Этот движущийся человек опасен пока только потенциально. Не взорваться бы раньше времени. Не взорвать бы хрупкую ситуацию. Даже в целях самозащиты. Может быть, конфронтация мною нафантазирована. Может быть, беда только мерещится. В ы к и д ы ш в о о б р а ж е н и я . В е г о голове сейчас тоже есть мысли. Почему они должны быть направлены обязательно против меня?! Тогда не нужно было бы всё так замедлять. Неужели есть смысл оказывать сопротивление?! Как это будет осуществляться?! Ведь е г о появление здесь наверняка не случайно. И не случайно предательское отключение света. Как не случайна моя роль в этом стечении сцен. Ведь все это время о н где-то скрывался. Вернее, не скрывался, а существовал. Независимо от моего присутствия. Может быть, в этом оборудованном подземелье протекает своя полноценная жизнь?! Иная?! По своим подземным законам?! Со своими подземными ритуалами?! Со своими окончательными приговорами?! Незарегистрированное подземное государство?! Г о р о д - г о с у д а р с т в о. Ответить на свои же вопросы я опять не в состоянии. Я в состоянии только фиксировать глазами и ждать. Странно, но еще могу, вопреки логике уже написанного сценария, наслаждаться музыкой Шостаковича. Хотя и не в качественном, репетиционном исполнении. Его внутреннее композиторское сопротивление по сравнению с моей панической трусостью кажется мне сейчас лирикой. Настолько огромен мой страх. С т р а х — это когда при полном сознании отмирает какая-то часть тела. С т р а х — это когда полностью разворачивается воля и напоминает о себе животное происхождение. С т р а х не осилить разумом, как не осилить разумом и собственную смерть. С т р а х можно только чувствовать. Шостакович это понимает. С т р а х п о д С е д ь м у ю с и м ф о н и ю Ш о с т а к о в и ч а. Тень придвинулась ко мне приблизительно метра на полтора. Нас разделяет теперь около двенадцати метров. При математических склонностях мозга можно даже вычислить скорость движения тени. Или скорость увеличения страха. Хотя шарканье сапог о каменный пол напоминает просто топтание на месте. Но это лишь кажется. Что заставляет е г о двигаться в моем направлении? Или, может быть, двигаюсь е м у навстречу? Нужно оторваться от стула и стены. Хочу выпрямить заледеневшую спину. Позвоночник не отпускает. Он прирос к спинке стула.

Стул прирос к отшлифованному булыжнику. Булыжник — недвижимая часть в е ч н о с т и. Полный внешний покой. Я волнуюсь. Мысли становятся более хаотичными. И мелькают моменты, когда я не нахожу связи между ними и своим состоянием. Похоже, приближается час познания истины. Истины сегодняшней. Не доступной ни прошлому, ни будущему. Не доступной другому физическому лицу. Истины, доступной только мне одному. И только сейчас. Истины, к которой, возможно, я подкрадывался всю свою жизнь. И вот, наконец, дополз. Да! Шостакович даже не подозревает, что через двенадцать приблизительных метров звучания его героической симфонии должно произойти что-то очень для меня страшное. Но это — вне его компетенции. Вне его любопытства и интересов. Это его не касается. Ему до этого нет никакого дела. Он — уже в азарте. Репетиция идет на полную мощность, хотя акустические возможности подземелья невелики. Дирижер и первая скрипка продолжают нервничать. Отведенные им ограниченные погонные метры не позволяют существенно влиять на звучание: ни оборвать раньше времени, ни ускорить, ни повторить неудавшийся «кусочек» после необходимой паузы. Все звуки заключены в жесткие непроницаемые рамки. Они уже не принадлежат оркестру. Они уже отречены от породивших их музыкальных инструментов. Они — часть подземелья. Так за думано лириком Ш о с т а к о в и ч е м. Так за думано сценарными обстоятельствомами. Так за думано Его Величеством С т р а х о м. Малиновая тень медленно, но убедительно сокращает расстояние. Двенадцать плавно переходят в девять, а девять — в оставшиеся семь с половиной метров. Что мне делать, когда они сравняются с нулем? Встать? Откланяться? Насильно улыбнуться? Импровизированно протянуть руку? Или подготовиться к символической обороне? Сопrotивление бесполезно? А что в данной ситуации件лезно? Я ощущаю на искусанных губах кислый малиновый вкус. Это — вкус беспомощности. Перебить его нечем. И незачем. Впустую. Перебивать нужно возбужденное сознание. Хотя, наверное, его гораздо легче просто убить. Нет, это не мысль о самоубийстве. Это беспомощность всех мыслей сразу. С точки зрения и теории, и практики. Но беспомощность эта — временна. Я в этом уверен. С открытием второго дыхания она мгновенно исчезнет... Я умышленно начинаю дышать глубже... Реанимируются аналитические функции мозга... Сложные комбинации теней все четче вырисовывают овал наступающего лица... Лицо начинает приобретать конкретное человеческое тело... Тело

подтверждает: оно находится в движении... Движение подтверждает: в моем направлении... Кажется, человек одет в военную форму... И действительно в сапогах... Взгляд на себе я чувствую метров за пять... Я вижу знакомые/?!/ глаза... Знаком ли им я?.. Заросшее щетиной лицо вводит в заблуждение мою память... Или воображение... Даже сквозь небритость выделяется мазок густых жестких черных усов... Чуть сморщенных... Детская сжатость недетских губ... Обретенная впалость щек... Мне действительно знакомо это незнакомое высохшее лицо... Вот только откуда?.. Я встречал его довольно часто... В старом документальном кино?.. В новых иллюстрированных научных книгах?.. В снах?.. Наяву?.. Малиновые лишаи теней все время меняют его выражение... Одно выражение рождается из другого... Одно выражение загадочнее другого... Одно выражение наслаивается на другое... Все пропитано до невыносимости терпкой тайной... Все пропитано ее/тайны/ фальшивой/?/ значимостью... За два метра до финиша с потолка беззвучно падает восклицательный знак!.. Рядом с моим стулом... Или это выправленная черно-белая радуга?.. Или знамение?.. Пока без жертв... Со мной происходит необъяснимое... Вопросом: кто это? — я хочу остановить идущего ко мне... Но способность произносить звуки полностью отсутствует... Полностью отсутствует способность быть способными... Шаги же прекращаются сами по себе... Нас разделяет теперь только стол... Мой стол, за которым я сижу... Симфония дергается в смертельной судороге... Она себя отжила... Неудачной репетиции пришлось стать и единственной премьерой... Шостакович меня бросает... Шостакович уже не вернется... Шостакович навсегда исчезает из моей жизни... Мои щеки нагреваются от жара малинового пламени... Я чувствую, как меня перекрашивают в малиновый цвет... Меня, малинового, внимательно изучают... Возможно, надо мной проводят опыт... Но своего взгляда я не убираю... Я тоже пытаюсь быть внимательным... Внезапная мысль взрывает сознание... Передо... Передо мной стоит... Передо мной стоит сам...

Передо мной стоит сам Адольф Гитлер... Неожиданный панический вдох не предполагает выдоха. В голове мелькает только категоричное: да! Ж и в о й. Во всяком случае, похож на живого. Н а с т о я щ и й. Во всяком случае, производит впечатление настоящего. К горлу подкатывает тошнота. Я сверхусилиями имитирую глотание слюны. Я сверхусилиями сохраняю себя в сознании. С а м А д о л ь ф Г и т л е р . . . Талый воск малиновой свечи стекает на его коротко протянутую

ладонь. У него странно-изможденный вид. Истерзанно-уставший. Насильственно-воскресший. В позе рук больше мученического, чем одиозного. Но глаза начеку. Он — неподвижен. Я сижу. Он стоит. Он не садится. Ждет приглашения? Что у него на уме? Я хочу встать. Хочу выпрямиться. Измерить себя в полный рост. Не получается. Никак. Он пристально и откровенно меня изучает. Видит ли он отражение своей свечи в моих зрачках? Что он находит в моих блестящих глазах, кроме ужаса и удивления? Удивляет ли его мое удивление? В ужасе ли он от моего ужаса? Имеет ли он представление обо мне? Желанный ли я для него встречный? Интересует ли его, что на уме у меня? Я перебираю пальцами загнутый уголок скатерти. Скребу его ногтями, пытаюсь выправить. Перевернуть бы сейчас всё вверх дном! Вдогонку предавшему меня Шостаковичу. Вдогонку Седьмой Р е п е т и ц и о н н о й. Но где найти столько сил? Взаимы их взять негде. Я перебираю пальцами загнутый уголок скатерти. Скребу его ногтями. Но кем-то намертво заглаженный утюгом, он никак не выправляется. Бесполезно. Красный горошек перебирает мои нервные пальцы. Жадные ладони незаметно наполняются красными горошинами. До предела. Не высыпаться бы им из дрожащих рук. С а м А д о л ь ф Г и т л е . . . Сквозь густой туман неизвестности я начинаю чувствовать запах одеколона, которым душился несколько часов назад. Я чувствую, как он неестественно усиливается. Такое впечатление, будто с тех нор прошло всего несколько секунд. И при этом я вылил на себя полностью большой флакон. Или где-то рядом разлили стакан концентрированной ядовитой жидкости. Запах открыто наступает. Я скрыто принимаюсь к своей одежде. Всё, кажется, в норме. Но дышать становится все труднее. Столь любимый мной прежде запах вызывает брезгливость и рвотное отращение. Неужели он пользуется тем же одеколоном, что и я? Н е в е р о я т н о е с о в п а д е н и е. Еще сомневалась, я нащупываю в кармане пиджака свой миниатюрный пузырек. Нет, не раздавлен. Неужели у меня с ним могут быть общие вкусы? Н е в е р о я т н о е с о в п а д е н и е. Еще сомневалась, я делаю последний пробный вдох. Задыхаясь, прикрываю нос руками. Чужим /моим/ запахом заполняется все подземное пространство. Им пропитываются стены и каменный пол. Им пропитывается малиновый свет. Запах мужского одеколона становится воздухом и кислородом. С а м А д о л ь ф Г и т л е р . . . Заражение становится неизбежным. Что легче, умереть от отравления или выжить и смиренно адаптироваться? Запах мужского одеколона проникает в кровь. Благодатная атмосфера

для привилегированной ненависти. Благодатная атмосфера для салонного противостояния. Я и запах мужского одеколона. Запах мужского одеколона и Гитлер. Я и Гитлер. Сможет ли мой инфицированный разум осилить эту фантастическую реальность? Сможет ли мое тело физически вынести этот лженаучный лабораторный эксперимент? Заслуживаю ли я хоть какого-то естественного мужества в этой замысловато-панической ситуации? Очередная цепь бесчисленных вопросов. Очередное отсутствие бесчисленных ответов. Длинные цепи начинают бессмысленно путаться. Или сплетаться. Вопросы начинают надоедливо повторяться. Только страх постоянно прогрессирует. Без малейшего сопротивления. С легкостью. Наплевав на открывшееся второе дыхание. В перспективе — и на третье. И на все последующие. Последнее дыхание наверняка исключением не станет. С а м А д о л ь ф Г и т л е р... Он переминается с ноги на ногу. Оглядывается по сторонам. Будто кого-то ждет. Или кого-то боится. Несколько резких движений малинового света погружают зал в темноту, а затем вырывают из нее только половину стола. Вырывают только половину моего парализованного тела, которое мне уже не принадлежит. Половина красных горошин скатерти превращаются в темно-коричневые пятна. В пятна подсохшей крови. Чьей-то подсохшей крови. Но чьей? Руки, лежащие на этой скатерти, становятся розово-синими. И если долго, не отрывая взгляда, на них смотреть, они кажутся совсем синими. И без ногтей. Он смотрит на мои скрещенные руки. Мои руки — без движения. Мои руки — без признаков жизни. Мои руки — часть малинового натюрморта. Малиновый натюрморт — часть подземного интерьера. Подземный интерьер — часть в е л и к о г о г о р о д а. От меньшего → к главному. От главного → к вечному. С а м А д о л ь ф Г и т л е р... Кому же принадлежит это заведение?.. Кому пришла в голову идея оборудовать бомбоубежище под ресторан?.. Кто его посетители?.. Как долго можно просидеть в этом бункере?.. Сколько можно здесь прожить?.. Как он сюда попал?.. Хозяин ли он здесь?.. Есть ли здесь еще кто-нибудь, кроме него?.. Поступает ли отсюда информация?.. И наоборот... Знают ли наверху о его существовании?.. О том, что он не умер... О том, что он жив... Или о том, что он бессмертен... Неужели он бессмертен?.. Выбирается ли он отсюда?.. Способен ли он подняться вверх, к людям?.. Нужны ли ему люди?.. Нужен ли он людям?.. С а м А д о л ь ф Г и т л е р... Терпение обрывается. Терпение обрывается внутренней суетой. Нужно попытаться перехватить инициативу и

радикально повлиять на ситуацию. Нужно предпринять какой-то неординарный ход. Или хотя бы принять важный вид. Нужно его чем-то удивить. Или испугать. Нужно предать своей персоне больше значительности и внешней уверенности в себе. Нужно какое-то серьезное физическое действие. С а м А д о л ь ф Г и т л е р... Я пытаюсь оттолкнуться локтями от стола. Я в очередной раз пытаюсь приподняться над собой. В очередной раз пытаюсь взлететь. Тщательно вытираю со лба пот. Уже не задумываюсь над деталями ситуации. Я встаю и от страха протягиваю руку. Попытка или просьба?.. Передо мной — сам Адольф Гитлер.

Не надо спрашивать у раненого, как он себя чувствует. Спросите лучше, сколько ему осталось жить.

Если кошка вздыхает по-человечьи, значит, она — человек.

Самый уместный разговор на развалинах города — об архитектуре.

Свастика — это улыбка ангела.

Любовь в отличие от ЛСД всегда существует в прошедшем времени.

Антифашист — всегда отчасти математик.

Перерывы между взрывами всегда превосходили расстояния между нотами. Наступало временное веселье.

— ...

— Не надо подавать мне руку...

— ...

— Я с тобой уже знаком...

— Со мной?..

— Да, с тобой...

— Знакомы?..

— Да.

— Но это... невозможно...

— Я сегодня с самого утра наблюдаю за тобой...

— За мной?..

— Да.

— ...

— Сразу же, как ты пересек границу Города...

— ...

— Я видел, как ты безошибочно шел к центру...

— ...

— У тебя была карта?..

— А зачем за мной следить?..

— Мимо меня не проходит ни один новый человек...

— Чем же я мог быть Вам интересен?..

— ...

— Разве я мог принести Вам вред?..

— У Города очень много врагов...

— ...

— Нужно быть бдительным...

— Вы хотите всех их знать в лицо?..

— Я всех их знаю в лицо.

Да,.. начало...

— Ты можешь сесть. Так тебе будет легче в твоих признаниях...

— Значит, я — тоже враг?

— Если ты сюда пришел, ты — уже враг... А кто ты на самом деле, я еще должен выяснить...

— Потом я смогу отсюда выйти?..

— Ты совершенно не знаешь истории... Только с моего разрешения...

— Но сюда я пришел по собственному желанию?!

— Вот именно!..

— ...

— ...

— Я не понимаю Ваших угроз,.. но я их принимаю...

— Это неизбежно...

— ...

— У тебя нет выхода...

— А что у меня есть?

— У тебя есть шанс стать мне другом...

— Другом?!

— Да,.. убежденным другом...

— А как быстро враг может стать другом?..

— Все зависит от тебя.

— От меня ничего не зависит... Я — гость...

— Нет лучше друга, чем бывший враг...

— Мне кажется, Вы преувеличиваете... Я не способен стать ни другом, ни врагом. Вы для меня — просто чья-то чужая память...

— Нет. Ты слишком плохо себя знаешь... Я же узнаю о тебе всё. Слышишь?.. Всё! Абсолютно всё! От меня ничего нельзя скрыть. Я вижу тебя насквозь. Я всех вас вижу насквозь. Тебе себя не скрыть...

— Я ведь здесь случайно...

— Нет!

— ...

— Мы обязательно должны были когда-нибудь встретиться... Именно здесь — в Берлине... Здесь-здесь-здесь...

— Это — бездоказательно.

— Ты целый день искал со мной встречи...

— Я спокойно блуждал по городу.

— Ты шел целенаправленно.

— Я не думал об этом.

— Ты целый день рвался сюда...

— Да, я хотел попасть в центр города.

— Ты рвался ко мне...

— Нет.

— Центр города — это я!!! Слышишь??? Центр Города — это я!!!

— Но я не знал, что меня здесь ждет...

— Здесь тебя ждал я.

— Нет...

— Мои люди наверху следили за тобой... А я прождал тебя весь день...

— Нет...

— Мои люди точно вели тебя к цели...

— Нет...

— Ты должен был здесь появиться,.. и ты появился...

— Стечение обстоятельств...

— Нет.

Что он от меня хочет?

— У нас с тобой много общего,.. поэтому не нужно нам ссориться...

— Это предположение или Ваша фантазия?..

- Это — твоя реальность.
  - И это тоже бездоказательно!
  - Стоп!!!
  - ... мы из разных миров...
  - Прекрасное начало!.. Ты сказал: «Мы»...
  - Это произвольно...
  - Именно!.. Только так можно прийти к истине... произвольно...
  - ...
  - Ты должен прислушаться к самому себе...
  - У меня с собой нет противоречий...
  - Надеюсь, что у меня с тобой тоже...
  - Вы преувеличиваете.
  - Твой оптимизм мне внушает доверие...
  - Это скорее иллюзия...
  - Скажи мне, ты любишь людей?
  - Думаю, да.
  - А кто любит их больше, ты или я?
  - Не знаю...
  - Почему ты не спрашиваешь: каких людей?
  - ...
  - Или для тебя все люди одинаковы?
  - ...
  - Ведь своих врагов ты тоже не любишь,.. как и я... Не правда ли?
  - ...
  - Так или нет???
  - Так...
  - Давай теперь выяснять: кто есть наши враги...
  - Мне кажется, они у нас разные...
  - Разные?!
  - И у меня их гораздо меньше...
  - Но они могут против нас объединиться...
  - Против нас?!
  - Да-да, против нас!.. Нам нужно объединиться раньше...
  - Все Ваши рассуждения подтасованы.
  - Возможно... Но подтасованы они самой действительностью...
- Он агрессивно приближает свое лицо к моему лицу.  
Запах общего мужского одеколona опять напоминает о себе.

Нас разделяют сантиметры.  
Глаза в глаза.  
Я вижу напротив свое лицо.  
Мое лицо смотрит на меня.  
С ехидством.  
Пренебрежительно.  
Подмигивает.  
Я от неожиданности с криком отталкиваю свое чужое лицо.  
Опасность удушья одеколоном.  
Опасность истерики.  
Опасность агрессии.  
На поражение.  
Он отскакивает.  
Я успокаиваюсь собственным криком.  
Крик успокаивает ситуацию.  
Опять — дистанция.  
Опять — Гитлер.  
Опять — нас разделяет стол.  
— Мы с тобой даже внешне похожи.  
— Это плод болезненных галлюцинаций...  
— Ты сейчас сам мог в этом убедиться... Не правда ли?..  
— Ну и что?.. Что из этого?..  
— Посмотри, у нас даже одежда одинаковая...  
Он стоит в таком же, как у меня, пиджаке.  
На нем такой же ослабленный галстук.  
Так же расстегнута верхняя пуговица такой же рубашки.  
Я в панике бросаюсь к карманам своего пиджака.  
Слава Богу, пиджак на месте!  
Слава Богу, ВСЁ на месте!!!  
Жарко...  
Пить!..  
— Дайте мне попить.  
— Подожди, нам надо сначала с тобой условиться...  
— О чем еще?..  
— О нашей согласии...  
— Дайте попить...  
— Мы должны сообща бороться с нашими врагами...

- Я хочу пить...
- Подожди чуть-чуть...
- Я хочу пить... пить...
- Только одно утвердительное слово...
- Принесите попить...
- Скажи, что ты согласен.
- Да,.. пить...
- На столе стоит пластмассовая бутылка.
- Я пью холодную минеральную воду без газа.
- Я наполняю стакан за стаканом.
- Он удовлетворенно на меня смотрит.
- Он удовлетворен.
- Я пью взахлеб.
- Я и жажда.
- Мне кажется, что я ее утоляю.
- Ей кажется, что она меня утоляет.
- Взаимообман.
- Начать мы должны с евреев.
- Почему с евреев?..
- Я знаю, что ты их тоже не любишь...
- Но...
- Никаких «но»... Евреи — это общий враг... И самый главный...
- Но...
- Оглянись вокруг...
- Но...
- Но ты же их тоже ненавидишь...
- Нет,.. но...
- Я знаю!!! Знаю!!! Знаю точно!!! Ненавидишь!!!
- ...
- Мы должны их всех уничтожить...
- ...
- Ты можешь убить хоть одного еврея?..
- Еврея?..
- Все равно, какого...
- Не знаю...
- Хотя бы одного...
- Но я не могу убить человека...

— Евреи — это не люди!!! Слышишь??? Не люди!!! Ты не должен этого бояться... В целях самозащиты...

— Я не могу убить живое существо...

— Ты должен понять окончательно — не люди это... Не люди!!!

— ...

— Бред!!! Человек, не способный убить еврея, — не человек!!! Слышишь???

— Зачем?..

— Зачем???!!! Врагов нужно уничтожать!!! Беспощадно!!! Всех!!! До последнего!!! Без жалости и сомнений!!! Кому нужна твоя животная сентиментальность??? Нужно думать о будущем че-ло-ве-чест-ва!!! Ведь я же вижу по твоим глазам, что в душе ты со мной согласен... И не только в этом... Ты всю жизнь искал подтверждение своей способности ненавидеть... Я подтверждаю это!.. Сейчас!.. Всему миру!.. Только здесь, в Берлине, ты можешь получить мое благословение... Только здесь бывшие враги могут объединиться... и стать единомышленниками... Только здесь общая ненависть рождает дружбу... Мы способны по-разному любить, но одинаково ненавидим!.. Всех!!! Всех!!! Всех наших врагов!!! И никогда уже нам с тобой не разлучиться!.. Я подтверждаю это!.. Здесь!.. В Берлине!..

Пить!

Я тянусь рукой к бутылке с водой.

Пустая бутылка падает на пол.

Звук пустоты.

Пустой стакан я разбиваю о каменный пол.

Звук отчаяния.

Голос Гитлера превращается в хор гитлеров.

Вокруг меня кричат много гитлеров.

Они мне что-то доказывают.

Я глухну от этого крика.

Глухая ненависть.

Настоящая ненависть.

К евреям.

К гитлерам.

К себе.

Самоубийство — это искусство перевоплощения.

Ложь не поддается разоблачению. Потому что само разоблачение уже по сути своей является ложью.

Нет большей скуки, чем скучный враг.

Жестокость — это роскошь, доступная только разуму.

Объявление в парке: «Меняю саблю на иглу. Возможна доплата.»

Вычитание, как простейшее арифметическое действие, подтвердилось двумя выстрелами.

Смерть всегда сопровождается музыкой. Для разнообразия иногда веселой.

Я — в центре малинового пятна. Я — в центре малинового круга. Я — в центре малинового круговорота. Толпа наперебой кричащих ртов и наперегонки шаркающих сапог воинственно его сужает. Беспорядочные замахи рук и противоречивые указания поднимают легкий ветер. Будто сквозит. Будто где-то нараспашку открыты окна и двери. Будто открыты они в надземный мир. Чуть-чуть знобит. Кажется, хочется согреться. Кажется, хочется тепла. Но кто согреет? С трудом оторванный от стола взгляд распознает в приближающихся фигурах лишь своих двойников. Взорванно-возбужденных. Агрессивно-обиженных. С усами. Как у самого Адольфа. С энергией. Как у самого фюрера. Слава Богу, без оружия. Но и в этой ситуации я не готов обороняться. Не готов к сопротивлению. Я готов смириться. Вот только не пойму, что от меня хотят? Вот эти. Вот такие же. Как я. Воняющие одним и тем же одеколоном. Одинаковые в манерах. Одинаковые в злобе. Во что хотят превратить мое смирение? Без моего позволения. Что хотят сделать с моим покоем? При моей пассивности. Кому и зачем я мог понадобиться? Разве может быть целью само отсутствие этой цели??? Или это и есть скудость моей фантазии??? Я с тревогой теряю ориентацию. Ориентация беззащитно и безвольно теряет меня. Я — между. Между сожалением и бессилием. Из разных углов подземелья несется отрывгающая музыка Шенберга и неожиданно вернувшегося /или насильно возвращенного вопреки сценарию/ Шостаковича. Одновременно. Вперемешку. Вперемешку с малиновой истерикой.

В искаженном темпе. Невыносимо громко. Еще более запутывая ситуацию. Наплевав на идиота-слушателя. Наплевав на идиотов-слушателей. Еще более озлобляя агрессивный круг. Что заставило Шостаковича вернуться? Хотя, возможно, это — только галлюцинация. Сделанная мозгом магнитофонная запись Седьмой симфонии. Точнее, ее деформированные импровизации. До меня доносятся голоса проклятий. Эхом. Сквозь тоталитарно-симфоническое сопровождение. Я не понимаю, к кому эти проклятия относятся, но воспринимаю их на свой счет. Счет уже давно открыт. Счет постоянно пополняется. Меня, наверное, кто-то проклинает. Бессчетно. Или меня проклинают все? Хором? Может быть, я проклинаю самого себя? Я — в кругу проклятий. Я — центр проклятий. Я — источник проклятий. Я — самопроклятие. Руки пытаются тянуть скатерть на себя. Скатерть с первого раза не поддается. Она сопротивляется. Бойтся рассыпать свои драгоценные горошины. Или просто не хватает сил? Вторая попытка. Вопреки чужому упрямству и собственному предположению. Да, вопреки бессилию. Второй рывок. Отчаянный. Кажется, из всех последних сил. Резкий и злобный. Вопреки внешнему безразличию. Пустая использованная ампула, до сих пор валявшаяся на краю стола, возбужденно подпрыгивает. Фиксирует на себе мое тупое внимание. Точнее, на своих заточенных заусеницах. Но уже на середине голого деревянного стола. Я и ампула. Скомканная скатерть покрывает мои колени пледом. Я и ампула. Мои колени усыпаны красным горохом. Я и ампула. Мои колени неожиданно перестают трястись. Мои колени на несколько секунд противоестественно замирают... Именно здесь заканчивается предыдущий виток спирали и сразу же начинается новый. Без перерыва. Без перерыва на полный вдох. Без возможности перекреститься. История пока продолжается. У истории пока еще есть силы. Так задумано сценарием. Так задумано самим Адольфом Гитлером. Так задумано мной... Пружинящие дрожью пальцы правой руки крепко хватают играющее малиновым светом стекло. Левая же рука пытается обнаружить в себе вены. Наконец это удастся: пристальный взгляд разветвляется на несколько тонких запутанных шнурков-сосудов. В них, наверное, течет кровь. Внутренняя сторона запястья напоминает хрупкий анатомический рисунок. Стоп-кадр: правая рука висит над лежащей на столе левой рукой. Я не оглядываюсь вокруг. Никто не заслуживает моего поворота головы. Мне не с кем советоваться. Мне не у кого просить прощения. Все окружение мне отвратительно и

гнушно. Я в этом не сомневаюсь. Правая рука в этом тоже не сомневается. Я принимаю окончательное решение... Заусеницы вонзаются в левое запястье. Без замаха. С первой безошибочной попытки. Я чувствую расширение своих зрачков. Слышу скрип уголков своих глаз. Пренебрегаю стуком своих зубов. Левая рука расслабляется. Правая — твердо удерживает инициативу. Я вижу медленное течение крови. Я вижу появление крови. Я вижу кровь. Больно ли мне? Да, больно. Очень больно. Сознательно больно. Но сознательно терпимо. Я с достоинством констатирую свое терпение. Я горжусь своим терпением... А какого им, вот этим, вокруг??? Больно ли им? Вряд ли. Я слышу, как меня по-отечески подбадривают. Мне готовы помочь. Меня готовы заслуженно поощрить. Интересно, по законам какого времени? Военного или антивоенного? Мне обещают помнить меня после моей смерти. Кто? Гитлеры или евреи? Дображелательность ублюдства. Но мне до них нет никакого дела. У меня есть верный шанс избавиться от них всех. От их гнусавых голосов. Сразу. И окончательно. Все мои силы в правой руке. Ненависть всегда сильнее боли. Даже если эта боль твоя. Даже если эта боль сильнее тебя. Первые капли крови с короткими интервалами падают на скатерть. Соединяя между собой кровожадные горошины. Составляя из них незаконченные геометрические фигуры. Превращая куски ткани, если их до гладкости расправить, в абстрактное панно-мозаику. Я — на фоне еще одного вида искусства. Мирного. Я — на фоне своих коленей. Если смотреть на меня сверху. Я — на фоне. Если не видеть меня вообще.

Я зажимаю правой ладонью левое запястье... От боли... Я пытаюсь встать из-за стола... Дьявольского подобия музыки уже не слышно... Или я просто оглох?.. Встать удастся... Я опираюсь на стол обеими руками... Будто одной... Будто в наручниках. ..Несколько капель остаются на деревянном столе... На память... Какая-то странная тишина... Мне даже удастся поднять голову... И удержать ее поднятой... Без помощи рук... Вокруг меня никого нет... Какое-то странное одиночество... Или я просто ослеп?.. Малиновый свет без предупреждения заменен бледно-мертво-желтым... Я и не заметил, когда это произошло... На стенах опять видны картины, содержание которых уже не помню... Я, кажется, вижу черную дыру, которая должна вывести меня отсюда... Для этого надо только пересечь зал по диагонали... Я беру пиджак обеими руками... Будто одной... Будто в наручниках... Скатерть падает с моих ног... К ногам... Но не саваном...

Я переступаю через скатерть... Боюсь уронить свой пиджак... Шаг вперед... Шаг назад... Я, стоя, опираюсь на стол... В последний раз... Передо мной пространство неизвестного мне мира... Заключенного в объятия богов... В каменные объятия каменных богов... Когда и для кого оно становится доступным?.. Каждый ли знает о его существовании?.. Была ли это для меня честь?.. Или наказание?.. Хотя з н а н и е сейчас теряет всякий прикладной смысл... Боль левой руки окрашивает правую в красный цвет... Влажный... Не глядя, можно подумать, что от страха потеют ладони... Но страха нет... А на полу, перед ногами, от точного бомбового попадания друг в друга капель летят первые возбужденные брызги... Нужно результативно трогаться с места ... Тронуть себя с места... Нужно убираться отсюда вон... Лишь оторваться от стола... Скорее... Нужно согнутыми локтями зажать пиджак... Не уронить... Нужно не потерять самое дорогое, что у меня есть... Самое дорогое, что у меня было... Хотя это потеряно смыслом... Окончательно потеряно временем... Мое умрет со мной... Я крепче сжимаю кривыми руками мой пиджак... Вспышка тлеющего мозга... Попытка полушага вперед... Кажется, еще одна... Кажется, шаг становится целым... Для поддержания равновесия — несколько вынужденных хаотичных движений в разные стороны... Кажется, устоял... Но шатать продолжает... И в те же стороны... И в другие... Мой короткий отрезок пути импровизированно вычерчивается впереди меня красными точками-пунктирами... Показательной геометрии не получается... Парад отменяется... Выбраться бы отсюда любой ценой... Без какого-либо критического сопровождения... Без дополнительных соболезнований... Но в том, что за мной не наблюдают, нет никакой гарантии... Плевать... Сейчас я принадлежу только самому себе... Я больше не принадлежу Городу... Ведь Городу нужна жизнь... Любая чужая жизнь... Всё равно, чья... А теперь у меня ее нет... Никакой... Мне остается в Городе только умереть... Но очень хочется вырваться с его нижней окраины... Если поставить перед собой сверхзадачу... Очень хочется добраться до поверхности... Если хватит сил... Очень хочется увидеть плачущих людей... Если они там бывают.. Очень хочется лечь лицом к небу... Если между камнями найдется кусок земли... Два решающих сумбурных рывка... Я врезаюсь всем телом в стену... Целую разбитыми губами голый холодный камень... П о ц е л у й в е ч н о с т и .. Последний поцелуй в жизни... Рядом с выходом из бездны... Рядом с выходом-дырой... Меня шатает... Но я стою на ногах... Ноги выдерживают... На стене остаются красные отпечатки губ...

Размазанные объятия рук отпускают стену... Еще одно напоминание о моем здесь присутствии... Я — перед нырянием в дыру... Придет ли сюда кто-нибудь следующий?.. Когда-нибудь... Готовится ли он уже к этому абсурду?.. Где-нибудь... Или его готовят?.. Сколько здесь было до меня?.. Таких же... Остался ли кто-нибудь из них в живых?.. Стоп!.. Всё это — чушь... Неважно... Меня поглощает черная дыра... Я в последний раз автоматически оглядываюсь... Беззлобно... Бесстыдно... Бессудно... Будто там, внизу, меня никогда не было... Будто я где-то далеко... Будто жизнь показалась мне сном... Будто во сне меня наказали собственной жизнью... Заикание мыслей... Спотыкаюсь... Каждая ступенька дается мне сквозь зубы... Из-под тяжести... Еще раз спотыкаюсь... Но по инерции тело движется вперед... Передвигается... Параллельно мыслям... У него даже есть скорость... Причем, в абсолютной темноте она стала повыше... Правая рука уже сознательно не сжимает левое запястье... Она крепко держит только пиджак... Боль не чувствуется... Боль равномерно рассосалась по всем мускулам... К тому же, руками иногда нужно размахивать... Нужно страховать себя от падений... Упереться руками в стены и потолок медленно тянущегося в гору склизкого цилиндра... Дотянуть бы... Нужно вытерпеть это бессрочное действие... Левый рукав рубашки весь пропитывается липким теплом... Я догадываюсь, что это — кровь... Она меня не отвращает... Я ее не вижу... Я скоро перестану ее чувствовать... Постепенно появляется бездонное эхо... Можно смело разговаривать с самим собой... Хотя бы вздохами... Или прочими хрипылыми междометиями... Ступеньки заканчиваются... Под ногами разных размеров спотыкаются камни... Камни и сырость... С потолка что-то льется... Туфли превращаются в камни... Вода прибывает... Выше щиколотки... Звуки хлюпающего в сточной канаве животного... Вдруг я ударяюсь о стену... Нащупываю руками железную лестницу... Куда она ведет?.. Наверх?.. Я поднимаю голову... Света нет... Есть впечатление — дождь... Вход из Города был совершенно другим... Там была дверь... Там не было никакой лестницы... Там через стенку были люди... Может быть, я заблудился?.. Может быть, с Городом связывают несколько тоннелей?.. Сейчас другого в ы х о д а нет... Назад дороги тоже нет... Может быть, это — единственный шанс... Последний... Чтоб не сдохнуть под землей... Этим шансом надо воспользоваться...

Прорывая собой сито морозящего дождя, я с примитивно-величественным видом выглядываю из открытого канализационного люка в стороне от неизвестной мне площади. Похоже на раннее утро. Я встречаю

новый день. Я встречаю свой последний день. Я встречаю берлинский день. Очень хочется пить. Я наклоняю голову и пью из ближайшей лужи. Утоляя мою жажду, вода в луже слегка розовеет. Без помощи рук я пытаюсь умыться. Пытаюсь остыть от духоты подземной вражды. Но дополнительной свежести не предусмотрено. Свежесть сейчас жадна, зла и абсолютна. Она не хочет делиться своим эгоизмом. Она принадлежит другому. Свежесть — собственность города. Вместо нее лишь легкое тепло в обессиленных ногах. Усталость тоже имеет свои преимущества. Если она была не напрасной. Только что отвоеванная у жизни свобода, а точнее, право на собственную ненависть, позволяет смертнику улыбнуться. Не стыдась собственной безнаказанности. Не стыдась бытовой бессмысленности. Я, кажется, улыбаюсь. Бесслезно. Счастье — оно и в смерти счастье. Не упасть бы от счастья назад, вниз. Не уронить бы пиджак. Второй раз оттуда не выбраться. С большим трудом части моего экзотического тела все-таки поднимаются на поверхность города. Издалека случайный прохожий может воспринять меня городским дежурным сантехником. Если не заметит, что левая сторона всей моей одежды — красная, а правая — черная. Как у бродячего циркача. Но площадь пуста. Никого. Кроме шипения дождя. Никого. Кроме скользящего под наивными руками булыжника. Никого. Кроме одинаково мрачных зданий. Рассвет покинутого людьми города. Вымытые в той же луже руки меняют свой грязно-красный цвет на грязно-синий. Из тувель выливается подземная вода. Из левой — красная. Хочется спать. Хочется вечно спать. Хочется пить, спать и не думать. Левая рука уже совсем не работает. Поэтому начинает мешать. Она болит, болит, болит, ноет. Окончательно отделяясь от тела. На грани падения я дотягиваюсь до пиджака. Подтягиваю его к себе. Слава Богу, во внутреннем кармане всё на месте. Никто не посягнул на мое последнее заблуждение. Даже случайность. Никто не посягает на него. Я — свободен в своих поражениях. Дождь заметно усиливается. Розовая лужа вскипает, опять становится прозрачной. Бодрая полоска, соединяющая левую руку с булыжником, исчезает. Прилечь некуда. Земли поблизости нет. Травы — тем более. Задирать голову к небу нет сил и смысла. Единственного взгляда оказалось достаточно. Небо есть отражение голой площади. Площадь есть прообраз неба. Я достаю из кармана пакет-спутник. На последнюю операцию потребуется больше времени: одной рукой меньше. Но жажде свойственна изобретательность. Смесь неуклюжести и

ловкости вонзает шприц в вену между опухшей от ударов щиколоткой и задранной штаниной. Без блица сомнения. Без гримас и каприза. Профессионально. Все использованные и уже не нужные принадлежности без промаха летят в канализационный люк. Вслед моему оттуда появлению. Без звука. В слепую вечность. Я наотмашь крещусь. В последний раз в жизни. Не вспоминая сцен из своего беспорядочного существования. Не каюсь в своих предательствах и признаниях. Не вынося себе приговор. В последний раз в жизни. Я в полный рост вытягиваюсь параллельно тротуару, подперев правой рукой с трудом управляемую голову. Появляется способность слышать. Я слышу барабанную дробь дождя. Слышу барабанную дробь сквозь дождь. Ее приближение. Слышу жидкий марш одинаковых башмаков. Марш под барабанную дробь. Слышу его приближение. Появляется способность видеть. Я вижу отряд подростков-барабанщиков. В черных до колен шортах и стерильно белых гольфах. Я вижу их наступление. Вижу, как они проходят по тротуару. Мимо меня. Я вижу их упрямые ноги. Я не вижу их упрямых лиц. Лица высоко подняты. Лица не видят меня. Есть ли у них лица? Только самый последний и самый маленький по росту на ходу поворачивается... Это же Гитлер!!! Маленький!.. Настоящий!.. С усами!.. Мини-Гитлер!.. Он, смеясь, показывает мне кулак. Он со смехом догоняет барабанную дробь... Марш продолжается... Весело... Но я чувствую, что засыпаю... Будет ли моя смерть перевоплощением или просто физической смертью, не знаю... Из глаз боязливо пытаются сползти две слезы... Дождь их мгновенно смывает еще в зародыше... Я улыбаюсь... Серо-черное здание напротив не улыбается мне в ответ... В голове успевает мелькнуть мысль: Берлин — город!

ГЕННАДИЙ АЙГИ

## Стихи разных лет

### ПОЗДНЕЕ ОТЦВЕТАНЬЕ ШИПОВНИКА

помнит как будто душа о побоях  
да очищаясь-лучится  
раны сама освящая себе сохраняет:

вся  
— в окропленьи! —

о этот воздух — безлюдья!.. —

/умер ли  
кто-то  
кого и не помню:

вот и бродить! никому  
чтобы — как будто вишневый — ни слова/

1982

## И НЕ БЫЛО ПРОЩАНЬЯ

Оставление,  
я. А певедеше было  
миро,  
тобою,  
свечешем неким.

Эта ясность любви, не включая меня, постоянством свободы —  
как небо — возможна.

/Недостойность,  
живучий,  
безвозрастный сор.  
Вот и жизнью  
столь явно  
крошится/.

Лишь моею потом оказалась беда! — а высота была и осталась  
петрутой /и ее чистотой одаряло — незнание/.

/Ровность  
свечения! —

знал я  
в лицо/.

И не кем-то забытый, — собой завершаюсь! — а свет — пребывание  
то же: о стойкость прекрасного! — плачет-сияет: давно без «всего...» — от-  
даленном долгим и ясным! —

/чистое — «ты»: и молчаньем  
светел, как смыслом,

круг, словно облика место:

замкнувшийся — круг/.

1982

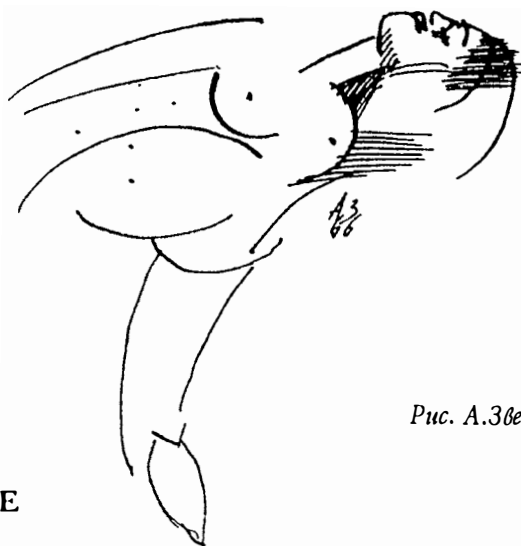


Рис. А.Зверева

## ВОСПОМИНАНИЕ НА ПОЛЯНЕ II

Белое.

Черное.

Камень, — и то, и другое.

Хижиньки:

Арль.

Черное.

Белое.

Тень — как невидимый лед. Посредине:

огнь

/разъедающий

больше-чем-Ницего/.

Белое.

Черное.

Поле — бездонно поблескивающий

/огромностью мира/

невидимый

лед.

1982

## ПАУЗА В «ТЕТРАДИ» ДОЧЕРИ

вдруг  
/ты уснула  
а вижу я  
взгляд/  
мне — одиноко жалеть-пребывать:  
будто бы — вымокнув! —

:

жил-поживал /как разбитая ветка ненужность  
то в том, то в другом!  
есть — чем и нужен немного  
а наступало:  
ничто  
никому —

и вздрагивал — было когда-то — сжимался я от сострадания:  
в ровно-знакомой  
давно  
тишине!/ —

:

и была ты — чистейшею  
в мире  
слезой:

/мне б — иногда — выразиться такою.../ —  
была — как в молчании  
место — ответа  
простого — самой простотой доброты!.. —

:

и я  
/будто в мире  
какой-то  
без сути

столь странно  
один/ —

тянулся — в тебе как в слезе причащаться:  
твоей чистоты

*1983, июль*

## СЕНТЯБРЬСКИЕ БЕРЕЗЫ В ГОРОДЕ

а чистотою!  
и много,

словно поблескивают  
раскрытостью — первотолчков:

перехода — во видимость! —

а сквозь  
/а ведь это  
дорогою долгой  
печаль/ —

лишь — ветер!.. — как будто себя остановя  
в разгаре дробленья  
во образе их —

оставил для воли движения памяти:

— места — запомнившего:

всюду-Колеблющий:

из бездны рождений-пустот!.. — и до края — страны

*1982*

## ПРОДОЛЖЕНИЕ

*Памяти Константина Богатырева*

а жизни тьма в душе подобья множит  
мерцанье где-то жертвы все слабей  
и нужен срок: чтоб снова содрогнулась  
душа — ушедшая

быть может в памяти места страданий прошлых  
в ином порядке вновь находят жизнь  
и длится труд: тебя очистят боли  
все той же — жертвы

и вот — как будто борется доньше  
преображеньем муки /вся в крови/  
и детскость целомудрие и девственность  
в тебе — заплачут

1982

## ХОРАЛ-ГОРОД

*/Думая о Святой В. — Покровительнице моей дочери/*

*Веронике*

криком /со стороны/  
слово простое твое разорвать  
страхом /вызвав его изнутри/  
улыбку порвать как цветок —

это было бы то же что едино-глубокую боль Богоматери  
враждою людей разодрать  
во имя Господа —

/... и как это просто — молиться за «дело»  
свое — обязательно «правое» —

и сколько же нас — вокруг  
нерасщепляемо-цельного  
единоубийства.../

1984

*Литва, Довайнопис*

## СНОВА: ПОЯВЛЕНИЕ СИНИЦЫ

это черно-зеленое  
облако силы безвишней  
я не однажды под небом будил —

снова как в давние годы  
сжалось оно в эту птицу — в доверчиво-робкое вздрагивашье  
цветка — принесенного ветром и снегом:

грусть расширяя  
в дом и в окраину города —

стуком в окно расцветание было:

в шуме прихода друзей сохраняясь  
минуту-другую —

/я говор их слушал  
как будто  
светлее и радостней спал/

1985

## ТЕПЕРЬ И ТАКАЯ

ты — образ покоя действительно полного  
 без смутно-опасного где-то за этим спокойствием  
 и вольная — чуть сиротлива  
 Россия-река..... — а потом — постепенно — в тебе замерцает  
 иная прекрасная — это что зовем мы красою извечною  
 и совершенством  
 и повторять красота и шептать это к месту! — о чистая долгой  
 покнигостью  
 все более тихой: как будто в труде постоянном! — давно это было —  
 уже и не помним  
 словно над многими душами  
 где-то в стране — после нас — затихать продолжающая  
 немного и небо-река

1987

*д.Денисова Горка Тверской области*

## ВМЕСТЕ

эта беженка снова с детьми в коридоре — едва на полу уложились —  
 по лицам круги милицейского  
 опять фонаря — а соседа спина не добра и не зла — что-то снова о  
 мясе с запрятанным шепотом  
 и вернувшаяся из путешествий с душой тут и там предлагаемой  
 эта твердо-скользящая женщина  
 снова комедию будто ломает раскаянья  
 — да только вот чем-то у девочки глаза переделаны — и не  
 закрывается дверь  
 что-то обугленно тлеет давно сердцевинной финала: это кто-то другой  
 (не могу я) живет за меня

1990

## ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

*(Из цикла «Русский мастер в Париже», посвященного Н.Дронникову)*

### 1. ДАВНЕЕ РИСОВАНИЕ

...первый след карандаша  
А.Твардовский

спичка шептаться могла и свеча  
Миром была принимая в себя — и казалось что крохи  
в сумерках утешающе-теплились хлеба  
светом — в сердца исходящим  
(...а почему бы и нет?..) — и рука тишиной отягчалась  
все более «зримой»:  
глаз  
будто в родник... — припадая... — (следы начинались  
зернистые  
первые  
скользя — как в гору!  
— ...шорох — Его разговор... — через нас  
здесь: с Миром)

### 2. ВМЕСТО ПИСЬМА

я  
с полями твоими — когда  
словно пилою  
малевичанской  
проходит твоя седина  
среди роз  
Распая... — и это посланье  
с равнины тверской  
больше — чем только «мое»! — будто слово-ворона  
в давнем снегу!.. — (мы с тобою мой друг  
такое в себе зарывая  
все же ведь — сурниковские)



2019  
Г. Айги

Геннадий Айги  
Рис. Н. Дрошикова

### 3. ОЖИДАНИЕ В ИВРИ

и — снова твое  
 вхождение в квартиру парижскую  
 словно  
 само-собирање во-воздухе  
 (из  
 тумана-и-праха)  
 храма — «какого-то» тульского... — и  
 шуршание голоса  
 мне — угонающему

в снежно-попынную горечь... — о сон:  
рука — крошащая  
(будто  
в здании-человеке)  
Друга — в цветущем тумане  
грусти Моне... — собирающийся  
из далей-рос-сий-ских — осколков  
приближение-сон... — это всем-ведь-собою  
(«какой уж ни есть»)  
Строиться-Строить..... — (холсты по стене  
будто по давнему шляху  
движенье телег)

*Январь-март 1992  
Бологое—Берлин*

## ПЕРЕД КАРТИНАМИ АНДРЕИ ШОМБУРГ

о к н а Д у х а на этих холстах  
(приснившиеся  
зрению души  
в виде полей и полян)  
стойко-спокойные в их неподвижности  
внутренние  
скользят и подрагивают  
у нас на глазах становясь  
будто и ровно и вечно)  
живущими (как безымянная зелень):  
о да: драгоценностями! —  
целомудрия чувств  
и болящей  
(тонко)  
руки

*30 ноября 1992  
Берлин*

ФЕЛИКС ФИЛИПП ИНГОЛЬД

Речь, произнесенная на церемонии  
вручения премии Петрарки  
Геннадию Айги

Перуджа, 12 июня 1993

*И там, где стояли мы,  
пусть останется  
свечение — нашего  
благословения.*

Г.А.

Дорогой Геннадий Айги,  
дамы и господа...

... чтобы понять поэта, лучше всего исходить «от-сюда». «Здесь» — это первая книга, которую Айги смог опубликовать в России, его первая, написанная на русском языке и напечатанная там книга.

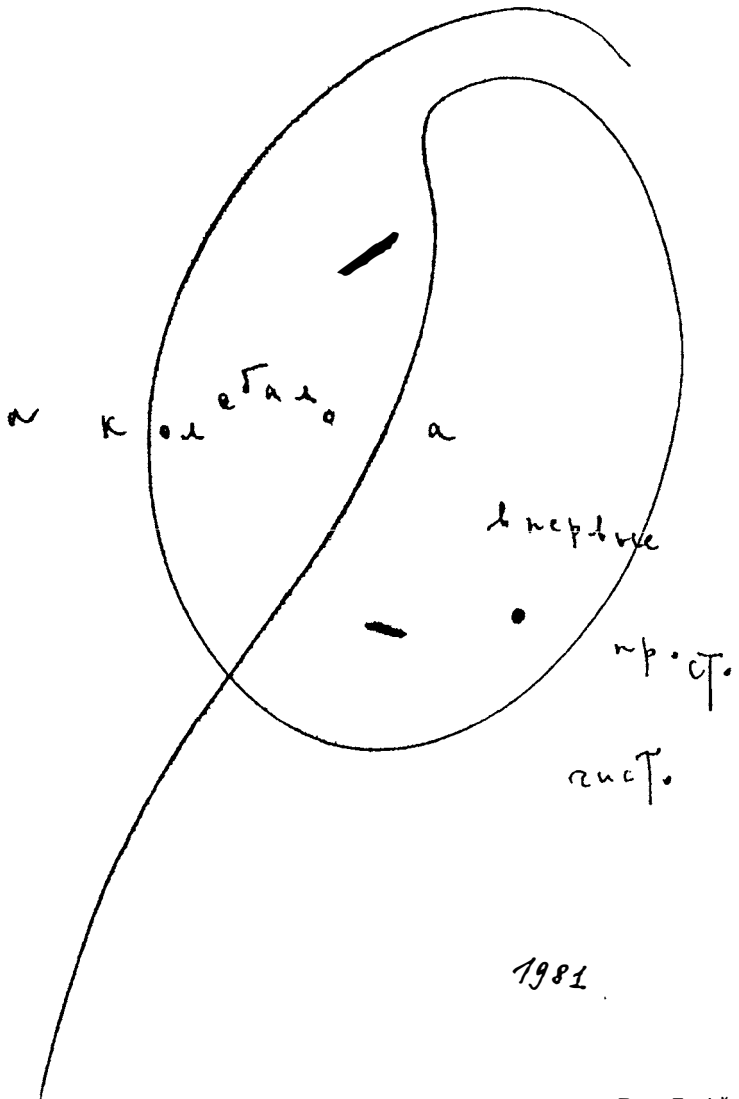
Поздний первенец, — автору было тогда, в 1991 году, пятьдесят семь лет. Дома его знали лишь те немногие близкие люди, которым он давал свои неопубликованные стихи для чтения, для передачи другим или для сохранения. Ибо на протяжении десятилетий Айги, чья работа никак не соответствовала требованиям официальной советской литературной практики, да и абсолютно не претендовала на такое соответствие, считался в бывшем СССР «чужеродным» и даже «враждебным элементом».

Но ни официальные препоны, ни материальная нужда не могли помешать ему, находящемуся в личной внутренней эмиграции, создавать свое обширное творчество высочайшего художественного ранга. Лйги постоянно утверждал себя как одиночку и именно как одиночка, — как автор с собственным обликом и неповторимым голосом — он вызывал неприятие, становился возмутителем спокойствия. Его поэтическое слово утверждалось наперекор властному слову правителей, оно не допускало никакого утилитарного или конъюнктурного использования, но и не находилось и в пределах досягаемости каких-либо запретительных аргументов противника.

И тем не менее тексты Лйги не скапливались в ящиках домашнего стола; в виде манускриптов, типоскриптов или копий с конца 60-х годов они стали, через посредничество друзей и знакомых, попадать за границу, где сначала появились отдельные переводы, а, начиная с 1975 года, и отдельные книги на русском языке. До сегодняшнего дня вышло более двух десятков его сборников, преимущественно стихотворных, кроме этого, сборники лирической прозы и эссе; все эти тексты задуманы Лйги как одна книга, как книга, которая была бы столь же цельной и уникальной, как одна жизнь любого человека.

\*

Родился Геннадий Айги в 1934 году в Чувашской Автономной Советской Социалистической Республике и относится, таким образом, к небольшому тюркскому народу, говорящему на языке урало-алтайской группы, и культура которого носит отпечаток его исторических связей с венграми и болгарами, его соседства с мусульманами-татарами, марийцами и мордвинами, но, в первую очередь, начавшейся в XVI веке, при Иване Грозном, русификации. Позднее она проводилась Москвой столь последовательно, что чувашаи — под нажимом, но и при поддержке устремившихся сюда русских колонистов, — к середине XVII века окончательно приняли христианскую веру, не отказавшись, однако, и от собственных языческих обрядов. И в религиозном, и в географическом отношении их расположенный на средней Волге регион образует своего рода порог между европейской и азиатской частями России, где сходятся христианство, ислам и архаическая природная религия.



1981

Рис. Г. Айзи

Через свою мать, происходящую из жреческого рода, Айги, вопреки жесткой советизации всей общественной жизни, — сохранил связь с религиозными корнями и фольклором своего народа, а его отец, сельский учитель, переводивший А.Пушкина, уже в раннем детстве открыл ему доступ к русской культуре, особенно к русскому языку, которым Айги владел в совершенстве, когда он в 1953 году — году смерти Сталина, переехал в Москву для учебы в здешнем Литературном институте, своеобразной кузнице кадров для тогдашнего Союза советских писателей. Однако Айги никогда не довелось закончить свою учебу по всем правилам, и никогда он также не был принят в Союз писателей.

\*

По совету Бориса Пастернака и Назыма Хикмета Айги стал использовать для своей поэтической работы преимущественно русский язык, в то время как чувашский, родной, стал средством его обширной переводческой деятельности. Этот поворот к чужому языку сыграл для Айги решающее значение; последовательное превращение своего в чужое, чужого в свое, которым, таким образом, занимается Айги, — это нечто гораздо большее, чем факт биографии. В основе здесь лежит убежденность, что любой язык следует рассматривать как иностранный, в том числе и родной; а язык поэзии — особенно.

Так возник новый русский автор, который благодаря своему многоязычию располагает чрезвычайно богатым поэтическим инструментарием. Айги охотно вспоминает о том, как его второе рождение, — его окончательное прибытие как поэта на родную чужбину — радостно приветствовал Пастернак, примерно так: «Как я рад! Вот, наконец, вы здесь! А ведь вообще думают, что смысл существующего, самое главное, — где-то там, «в других мирах»! Нет, все — здесь, сейчас, вот — в это самое время! — вечное, непреходяще-сущностное — здесь! И прекрасны мы — здесь, и тайна, и чудо, и наша нескончаемость, все — здесь! Ведь вы понимаете, да?»

Быть может, Айги воспринял эти слова Бориса Пастернака как своего рода завещание; во всяком случае, поэтический упор на Здесь и Теперь со временем в значительной степени стал определять его творчество. Уже одно из первых своих, написанных на русском, стихотворений Геннадий Айги озаглавил «Здесь»; стихотворение (оно датировано 1958 годом) содержит следующие строки:

*и жизнь уходила в себя как дорога  
в леса  
и стало казаться ее иероглифом  
мне слово «здесь»  
и оно означает и землю и небо  
и то что в тени  
и то что мы видим воочию  
и то чем делиться в стихах не могу*

\*\*\*

*здесь все отвечает друг другу  
языком первозданно-высоким*

\*\*\*

*и не знаем мы слова и знака  
которые были бы выше другого  
здесь мы живем и прекрасны мы  
здесь*

\*

Благодаря этому, возникшему под воздействием Пастернака, опыту ежедневного чуда Здесь и Теперь, и сам Айги, как личность и поэт, тоже превратился в здешнего; правда, в такого здешнего, который больше уже не связан с каким-то заранее определенным местом, с собственной родиной, собственным языком или какой-то определенной расовой или религиозной общиной, его нахождение здесь скорее можно определить как некое подвижное, я бы сказал, как некое кочевническое нахождение между.

Здешний — в этом смысле — «находящийся между».

В таком понимании здешним был и Орфей — странствующий певец в промежуточном царстве, поэт и переводчик одновременно.

Таким мы его, снова сегодня видим. Место автора, ныне, мобильно в той мере, в какой мобильным стал сам автор. Стационарных авторов больше нет; больше нет автора, который владел бы словом или даже

истиной в последней инстанции — автора как выразителя и глашатая истины, — автор как авторитет отслужил свое. Ныне он в пути как изгнанник, он среди нас как ищущий убежища, может быть, просто как турист, во всяком случае, *on the road*, во всяком случае, где-то между, всюду чужой и всюду свой, — и именно поэтому он и есть здешний; потому что он «находящийся между». Он не различает, он — различный.

\*

Эту различность Айги, которого зовут, собственно говоря, Геннадий Лисин, подчеркивает, последовательно используя свое поэтическое имя, не являющееся, кстати, псевдонимом, а красноречивым, даже программным художественным именем, означающим в переводе «тот самый» «вон тот», — то есть тот другой, который не я.

«Айги» — имя это — не случайная находка и не продукт фантазии. Чувашское слово, обозначающее «тот (другой)» звучит хайхи, но один из предков Айги, по словам самого поэта, всегда произносил неправильно это местоимение и получалось айхи; в результате неправильно произнесенное слово повисло на нем и семье как прозвище.

Первым, кто под этим именем заставил говорить о себе, был дед Айги Андрей; говорят, что он разбил цветущий сад на бесплодном холме на отшибе в чувашской сельской местности. Это был вообще первый сад в этом регионе и поныне этот холм носит имя Айги...

Поэтический текст начинается с имени поэта; это подтверждается и примером Геннадия Айги — его, как и любого поэта, следует читать как «того другого». Вместе со своим текстом и его читателем он в качестве третьего лица образует магический треугольник поэтического разговора.

\*

«Море и ветер могучи сами по себе, — и без нас. Таков и язык, — пишет Айги, — поэт входит в язык, — язык «зарабатывает» соответственно его энергии. Но, чур... — здесь нет полного «тождества». Чур... — ты, даже ослабевший, замечаешь такие гребни и валы языка: в них как бы бурлит и его «автономная» энергия, «разошедшаяся сама по себе», — ты успеешь еще направить кое-что из этой энергии «в свою пользу...»

Энергия значит тут то же, что и «вдохновение», оно недостижимо

путем волевого усилия, оно — случается, оно — событие в чистом виде. Все остальное, что требует авторского вмешательства, есть работа; ее нужно делать с «тактом», «умом» и «мастерством». Автор стихотворения не создает, он делает его возможным.

\*

«Лучше всего... легче всего я пишу, - сказал Айги при одном разговоре, — перед самым засыпанием». Во время «предсонья», уточняет он, охватывает его порой некое предчувствие или ощущение, чье содержание, смысл и цель остаются для него, однако, закрытыми: «Тогда я отдаю инстинктивной жестике писания».

“Писать” как глагол, обозначающий действие, в русском языке употребляется и в рефлексивной форме; таким образом, акт писания определяется как безличный процесс с собственной динамикой «писаться, пишется».

И в этом смысле Айги стоит также где-то «между»; здешность и теперешность движения его письма в основном происходят между явью и сном, сознанием и сновидением, «волком и собакой».

«... Сон-Шепот. Сон-Гул.

Человек — ритм.

Сон, по всему, должен «разрешить» этому ритму быть самым собой (не суживаться, не перебиваться под действием других ритмов).

Сон—Поэма—сама—по—себе.»

«Кажется, — отметил как-то Филипп Жакоте, — будто нужно спать, чтобы слова пришли сами собой.

Да... они должны быть уже здесь, прежде чем о них подумаешь».

\*\*\*

Есть у Айги стихотворения, состоящие всего лишь из одной строки, из пяти, шести слов; есть стихотворение, чей текст — или звуковой образ — сведен к одному-единственному гласному; а есть и стихотворение, которое вообще обходится без текста — пустая страница под заголовком: «Белая бабочка, перелетающая через сжатое поле».

«Флоксy — после «всего» — так называется великое маленькое

стихотворение, написанное Геннадием Айги в 1982 году в память Пауля Целана; вот как оно звучит:

*а Белизна-а?  
/ н е т м е н я / —  
а Бели-изна...*

Тексты Айги подобны предсказаниям или заклинаниям — после их окончания еще долго не кончаются; они устанавливают молчание и в нем говорят дальше, голосом — и на языке — читателя. Так тоже вершится поэзия.

\*\*\*

Наша благодарность Айги будет состоять в том, что мы его, повсюду Здесь, будем читать; и как читатели мы будем хранить его творчество, которое для нас всегда да будет!

*Перевод с немецкого Г.Куборской*

*Феликс Филипп Ингольд (Felix Philipp Ingold, geb 1942) — поэт, прозаик, переводчик, искусствовед, доктор славистики, профессор университета Санкт-Галлен (Швейцария). Автор многих работ по русской культуре, в основном посвященных К.Малевичу. Переводит на немецкий с русского, чешского, французского, итальянского. Лауреат Международной премии им. Петrarки по части перевода. В 1994 году ему присуждена Российская литературная премия им. В.А.Жуковского за выдающиеся переводы русской поэзии. В его переводе вытцено более десяти книг Айги.*

ИГОРЬ ГЕРГЕНРЕДЕР

# Стожок на поляне

Повесть

*Памяти дяди Павла*

1

Хвоя, мох под ногами; малохоженный гулкий бор. Белка скользнула с ели на ель. Поет дрозд на суку. Прохлада рассветная. Гуще туман; лес расступился — река. Курится пар над медленной водой. За туманами вдаль, в выси — розовеет. Вот-вот выстелется малиновая полоса. По липкой тропке — к пристани с настилом гнилым. Прилепилась пристань к глинистому откосу; кругом вязы торчат: обломанные, дуплистые. Отжили.

Заскрипели под ногами доски. В открытой будке сторож сидит. Он же — и матрос причала, и кассир. Тщедушный старичишка в тельняшке. С газетой

"Социалистическое земледелие" за 14 июля 1931 года.

— Моя пришла. Здоров утро говорит!

Не отвечая, старик поскреб в бороде, разгладил на тощих коленях газету.

— Моя на Самара нада!

Сторож еще добрых три-четыре минуты не отрывает глаз от газеты. Наконец поворачивает голову. Исподлобья глядит.

— Что твоя читал? Что сердитый так?

Старик втянул воздух, отхаркнулся, пустил плевок через весь дебаркадер.

— Не понять тебе наших делов, приبلудный ты человек.

— Э, зачем твоя обижает? Сидорка давно на Волга. Тут лес, и Сидорка в такой жил! Урман.

— То-то и дело, что урман, — сторож сложил газету, спрятал под тельняшку. —

По-людски говорить не выучишься. Смыслу в тебе нет! И душевного отклику!

Быстро тает туман. Солнце. Внизу по реке — островки; по правому берегу — сосновый мачтовый лес, по левому — поля, деревня. А по реке вверх, за водной далью, горы под шафранным небом. Царев курган. Стенькин утес. Жигули.

— Ты, Ложкарь, — угрюмо сказал старик, — от кормильца свово, от Егора Федорьга, отрекся. А Рогнедку вскормил, чтоб сластиться ей. Тебе сколь? Полста годков, поди? А ей шешнадцать, али и тово нет еще?

— Э, твоя злой! Егор кулак был! А Сидорка батрак был! Твоя как враг говорит.

Старик егознул на лавке, зырк-зырк по сторонам, закрылся в будке. Ух, язык клятый, чтоб те отпасть! Через минуту выглянул:

— Сидор, тебе до Самары? Ты билет не бери, я тебя так пуцу, — и потряс газетой. — Думаешь, про чего в ней разбираю? Про мироеда, врага! Как нам с тобой его уничтожить! Ты, Сидор, учти мое понятие.

Когда низкорослый мужик в заплатанной, до колен, рубахе, обшитой красной лентой, отошел к перилам дебаркадера, сторож прошептал:

— Язви тя! И откель только поперла эта чума...

Колотье в груди. Господи, оборони... Возле Воздвиженки один из таких вот шатался — лесной объездчик... все самогонку искал. А после — на! Револьвером машет! Уполномоченный РИКа... Брата с пятерьмя детьми — за двоих лошадок и телков двоих — на Соловки!

## 2

Сверху шел похожий на торт "Марксист"— бывшая "Франция" известной до революции пароходной компании "Кавказ и Меркурий". Борты кофейные, палубные надстройки цвета сливок. Колеса завращались в обратную сторону, гася инерцию, взбивая плицами рыжеватую пену. Сторож наматал канат-чалку на тумбу.

На палубе, к носу ближе, стоял плечистый полный человек в чесу-човом френче. Выбритое лицо спокойно-тяжелое; глаза маленькие, глубоко сидят, друг к дружке близехонько. Остановились на плосколицем мужике в заплатанной рубахе: смоляные, с резкой сединой волосы закрученные в косицу, усы вислые, бороденка жидкая.

— Эй, Сидор, садись в каюту! — сторож хихикнул, оглянувшись.

Закинув за спину мешок, человек в рубахе до колен поднимался по тропке от дебаркадера.

Из-за ветвей следил, как отваливал пароход, как, бурля воду, пошел вниз. На палубе с десятков пассажиров.

Всплески поднятых волн, щелканье клестов в бору; медно-красные стволы — один другого стройней. Все звончей щебет бесчисленных птах. Солнце взошло. Орел в выси пролетел к Стенькину утесу; божья коровка на рукаве — пунцовая бусинка. Жарко; манит вода искупаться. Шныряют над ней ласточки-береговушки. К чайкам, что над водой зависли, мерно помахивая крыльями, ворона присоседилась. Неужто собралась нырнуть за рыбешкой?

*Ой, да ты Волга-река,  
Волга-матушка.  
Ой, да легок челн  
Под крутой горой.*

Лодка ткнулась в песчаный берег. Рыбак, по пояс голый, проваленный на солнце, в закатанных портках, спрыгнул в воду. Спутанные ржавые волосы, кадыкастая шея.

— Ложкарь, пособилай давай! Бери бредень. Счас другой конец заведу, авось вытянем чего!

Человек в заплатанной рубахе скинул мешок, торопко засеменял к рыбаку, ухватил кол с привязанным краем латаного-перелатанного бредня. Рыбак оттолкнул лодку веслом, погнал против течения, напрягаясь мускулистым телом; растянул бредень во всю длину.

— На воблу одна-то надежда, Ложкарь! Согнали скотинку в общее стадо, а Степуган-пастух, прощельга, как ты. Ни кола, ни шавки! — вытолкнув лодку на мель, рыбак давал течению выгнуть бредень полукружьем. — Степуган-то до зорьки пьянехонек, овечки падают, коровенки бредут куды ни глянь — голоднющие! Лепехи с корой печем. Не уродится картошка али выгребут — побираться пойдём.

Плосколиций прищурился.

— Э, Тихон! Лес большой. Гриб кормит. Ягода кормит. Урман знать нада. Волю хотели, урман остался...

— Ты заходи в воду-то, чудь лесная! — рыбак выругался. — Тяни враз!

Охнув от натуги, вытащили бредень. Забились плотва, башклейка, красноперки, окуньки; с дюжину — лещей, воблин. Рыбак, бегая, хватал рыбу, кидал в лодку. Когда последнего подлещика бросил, обернулся:

— Ты, Ложкарь, опенком проживешь! Чай, и сети от Егора

Федорыча есть. Рогнедка пособит! Ночью рыба-то у берега вся. Порыбачите — и под кустики, порыбачите — и ...

Плосколиций, глядевший в резко-жарящее небо, вдруг бросил руку назад. Рыбак ойкнул, прижимая к животу ладони, медленно согнулся до земли, словно отвешивая поклон, переступил с ноги на ногу, рухнул набок.

Густеет зной, тускнеет небо. Жигули будто приблизились. Река плавно течет, посверкивает. На том берегу, между изб деревни, — фигурки редкие. Голые ребятишки не плещутся в воде — возьятся деловито; раков ловят. Костер разожгли.

Человек в заплатанной рубахе присел на борт лодки; на босу ногу — самодельные опорки из сыромятной кожи. Бесстрастно лицо; широко расставленные узкие глаза вперились в даль, подернутую дрожаще-пыльной дымкой, в Царев курган. Зашевелился рыбак на песке.

— Во ты как открылся... ловок убивать! Убивай! — запрокинул косматую голову, зарыдал, как залаял; заходил кадык на гусиной шее. — Детишки с Троицы на болтушке. Окунишку боимся съесть — впрок бережем. Мать схоронил: как щепку, в гроб клал!

Плосколиций поднял мешок, пошел взгорком к лесу.

— Бережешь Рогнедку? Бережена и протянется!..

### 3

Знойны были в Екатеринбурге июньские дни девятнадцатого года. А ночами от дыхания — парок.

В иную ночь отрывался от службы капитан колчаковской контрразведки Ноговицын. Брился, оставляя узкие, разделенные под носом усики. Сноровисто седлал лошадей Витун. Ражий малый лет двадцати пяти, в тазу такой же широкий, как в плечах. Капитан вскакивал на киргизскую кобылу: злую, тонконогую, с низким длинным крупом. Проселками, тропами, через тайгу — к озеру Таватуй. Кроваво-рдеющий рассвет, безветрие.

Кобыла рысила ходко, словно играючи круглыми копытами; на такой мог бы ездить богдыхан. Когда позволяла местность, офицер пускал лошадь наметом.

Витун на мерине рыжем приотставал. К Таватую выбирались шагом, сквозь таежную чащобу. Гнус донимал. Из сырой мшистой земли торчат гранитные глыбы. Солнце уже в зените. Капитан бросал поводья Витуну, сбегал, прыгая с камня на камень, к воде. Гладь стальная, с чуть розоватым отливом. Угрюмы берега. Прищурившись, смотрел на нестерпимо-калящее солнце широко расставленными глазами. Род свой по матери ведет от ногайского мурзы.

Офицер сбрасывает форму, кобуру с крупнокалиберным револьвером "Веблей-Скотт", ныряет в жгучую ледяную воду. Пока легко переплывает большое озеро туда и обратно, Витун сидит на корточках, держа на изготовку изящный японский карабин с миниатюрным, точно игрушечным, затвором, чутко ловит таежные звуки. Выпрыгнув на плоские камни, будто выброшенный из озера самим водяным, Ноговицын роняет тихо:

— Топор!

Ухитряясь не оцарапаться, мелькая в чаще нагим телом, рубит упавшие лесины; перескакивает с одной на другую, как легкий зверь. Рубит долго, метким ударом отсекая по толстому суку.

— Уж на пять костров, господин капитан... — Витуну надоело перетаскивать дрова на берег.

Пролетев десяток метров, топор хрустко вошел в лиственницу.

— Сеть!

Раздевшийся Витун, со спиной силача и оттопыренным бабьим задом, укладывает карабин у самой воды, предварительно вынув обойму. Достав из кобуры тяжелый "Веблей-Скотт", сжимает ствол массивными челюстями, берет сеть. Иногда до пяти-шести раз закидывают; заходят в озеро по подбородок. Витун крепко держит зубами револьвер, посматривает на тайгу.

Ноговицын признает уху лишь трех видов: пятерную, с ершами; стерляжью и налиమ్ю, наваристую до того, что рыбе сало — яичными желтками. Ее-то и сварил Витун. Остужает котелок, погрузив в воду. Подает офицеру жестяной ковш коньяку, полный до краев. Сидя, уперев в колени локти, Ноговицын выпивает ковш без отрыва; роняет. В руки — котелок с теплой ухой. Пьет большими глотками, обливая жиром голую грудь. Вдруг валится на заботливо разостланную английскую шинель.

Через три часа встанет; войдя в озеро по плечи, умоет угрюмое лицо, постоит с четверть часа. На исходе день. Быстро свежеет. На лошадей — и к полной тьме выберутся на проселок... Со вторыми петухами, в Екатеринбурге, соскакивают с седел в глухом дворе на Кологривской.

— Не поправиться стакашком, господин капитан?

— И тебе, Витун, не советую. Дед мой стал похмеляться, когда крепостное право отменили. В год сгорел!

Пружинисто взбегает по ступенькам. Камера с мышинными выщербленными стенами; режущий направленный свет лампы. Шатнувшись, встал посреди высокий ссутулившийся человек; голова клонится. Сколько суток спать не давали? Сон! Хоть на цементе, водой залитом!

Ноговицын, перетянутый ремнями, за столом.

— Вы — учитель бальных танцев? Нет? Запомню. Как же я так... Мастеровой Никодим Солопов... Любопытно! С вашей-то внешностью? Покажите-с ваши пролетарские длани... Витун!

Удар, вскрик.

— Поднять его, Витун. Посадить на стул, так-с! Борис Гаврилович Ардатов. До осени семнадцатого ходили в меньшевиках. И ходить бы вам в них! А то — организация, конспирация... Псевдонимы: Игнат Вятский, Пекарь... Позер-ство-с! Ну, какой вы Пекарь?!

Человек потер багрово-бурым платком губы в коросте.

— Ошибся в вас комиссар Мещеряк. И сами у нас, и за явочной квартирой Альтенштейна наблюдаем. Из-за вашей промашечки, извольте знать!.. Хотите чаю?

Вскинутая голова, вытянутый кулак со скомканным платком. В уголках глаз — гнойные дробины. Глаза вспыхнули. Потускнели.

— Опрометчиво — доверяться милым застенчивым гимназистикам. Мишенька не сжег ваши записочки. Мы поставили агентурное освещение в доме Нотариуса!

Мычание; голова падает на грудь.

— А очаровательная Лиленька из кафешантана "Топаз"? Я понимаю-с, от такого обольстительного создания пахнет ранетом и черемухой, но назначать встречу со связным за столиком официантки... Витун!

Минут пять спустя — вновь поднятому на ноги, окровавленному:

— Борис Гаврилович. Сами того не ведая, вы, как изволите видеть, все нам преподнесли-с! Идти на виселицу с этакой ношей? Остаться всеми проклятым? Господь вас, атеиста, не утешит.

Ноговицын встал из-за стола, взял стул, сел рядом с избитым. Крепко сжал его руки. Бледные, с узкими запястьями, с длинными пальцами: нервными, чуткими, порозовевшими.

— Не забыли Фаддея Веснянского?

Ардатов, вздрогнув, поднял глаза; белки кровяные.

— Какую гимназию вы кончали вместе? Рижскую? Довелось читать Фаддея Петровича. И на митингах слушал-с. Оратор! И истинный либерал, смею доложить. А каков беллетрист! Эти чарующие штучки: "Кошечка Минуш",  
"Блондинка в корсаже"...

Ардатов попытался высвободить руки:

— При чем тут... — закашлялся.

— При сем, Борис Гаврилович, при сем! Веснянский вовлек вас в партию. В меньшевистскую, прошу не забывать! Без малого одиннадцать лет вы были с ним единомышленниками, друзьями! А с большевиками вы сколько? И двух годков нет. Какой вы красный?!

— Вы хотите сказать...

— Угадали-с! Заблуждение — и не более! Ну, вам ли взрывчатку под полом прятать? Фу! А Фаддей Петрович сейчас во Владивостоке. Живет и здоровует. Новеллки пописывает. Председательствует в каком-то там меньшевистском клубе вашем. Хотите, я завтра вас к нему отправлю? В пульмановском вагоне. Вернетесь в лоно вашей партии. А там — хотите, газету издавайте с Веснянским. Хотите — эмигрируйте. Париж, Америка! А здешнее ваше, ха-ха-ха, как немцы говорят, кошке под хвост!

Ардатов пошевелил распухшими губами, кашлянул надсадно.

— Чего вы... домогаетесь?..

Ноговицын глубоко, раздумчиво вздохнул; задерживая, точно курильщик дым, воздух — выдохнул. Отпустив руки Ардатова, вскочил, вернул стул на место. Присел, медленно положил ногу на ногу. Сказал очень тихо, как умеют говорить привыкшие к власти над жизнью и смертью. Уверенные, что словечко каждое с губ поймают, уяснят.

— Несколько дней назад Мещеряк уехал из Екатеринбурга. Куда? К кому?

Витун, как бы с ленцой, переступил с ноги на ногу за спиной Ардатова. Тот втянул голову в плечи.

— То, что с вами сделано покамест, Борис Гаврилович, — пустячок. Будут пытки. И вотще сие ваше... Ибо выведем. Ну-с? — капитан

встал, не спеша расстегнул кобуру, извлек "Веблей-Скотт". — Зрю глаза ваши. Мольба-с! Все, что в силах моих... избавить.

Обогнул стол, медленно вытянул руку с хромированно-блестким револьвером. Дуло — в самую переносицу Ардатова. Упираясь каблуками в пол, суетливо, рывками отодвигался вместе со стулом. И вдруг опрокинулся.

— Витун, пульс? Зрачки? Обморок. В лазарет!

Вздохнув судорожно, обильно вспотев, капитан неожиданно грузно опустился на стул.

— Я — спать. В двенадцать разбудить. В четверть первого — его сюда.

Но в восемь утра уже не было на Кологривской ни Витуна, ни Ардатова.

#### 4

Сосны, сосны, как утешает краса ваша. На слезинке смолы — слезами ствол потек — паучок; облюбовал янтарную каплю и застыл с ней. С ветви сорока слетела. Как под сосну не прилечь, не успокоить взгляд, вершиной любуясь?

А там, за лапами сосен, далеко — меж перистых облачков где-то — жаворонок.

Не устань, пташка!

Шмели гудят; до чего важны. Лягушки заквакали; и полудня нет, а вам вечер? Пойти полюбоваться на вас; как сидите, матерые, на почти утопших в ржавой воде колодах. Вот и перешеек топкий. А узок — две телеги еле разъедутся. Если б не он — полуостров, где места в бору птичьи, звериные, притаистые, островом был бы. По обе стороны перешейка — заводи; скользнула под стоячую цвелую воду усатая мордочка. Выдра — вот кто тревожит лягушек! Нависли над заводами ветлы: темное место. Пробиваются, журчат в жирной тине прозрачные струи. Стоит в струе жерех, красными плавниками пошевеливает. Древне-корявый вяз склонился: вот-вот рухнет; купает листья в светлой струе.

По ту сторону заводей, за ветлами — луга, да какие! Рощи ольховые, березовые; изобиле ягодное, грибное. Бывшие барские угодья тянутся до Царева кургана. Три тысячи шестьсот десятин. Посреди — деревня Воздвиженка. А усадьба барская сторела давно.

Надоели лягушки. Потянуло от заглохших заводей сыростью, гнилью. А в бору дух медовый. Поредели сосны, широкой полосой протянулся дубняк; тут и дубочки, и старики кряжистые. Сова на краю дупла, как чучело. Сколько земляники! Рогнеде сказать — радость девчонке.

Так и дрожит марево над поляной. Скорее к стожку. Сбросить мешок, провалиться спиной в духмяное сено. Невысоко два кобчика кружат. Приятно глядеть на смелых птиц; стремительно-вкрадчивая сила.

*Ой, да сокол-свет,  
Где твое гнездо?  
А мое гнездо  
Попалил пожар,  
Разнесу я жар,  
Ой, на вражий край...*

Кукушка кукует. Да и не кукует вовсе. Подала голос разок, стихла. Поторопиться надо. Страха нет в душе. А злобы?

## 5

За поляной — смешанный лес; карагачи, клены хмелем обвиты; буйно разрослась бузина; ярко алеют волчьи ягоды, плоды аронника пятнистого.

В низинке — лопушатник выше колен: на листе лопуха — улитка; переберется с листа на лист — и день минул. Заросли шиповника; стрекоз сколько! С ветки ивы жук-олень бухнулся в бочажинку. Экий увалень, право. Поскорее вынуть и на ствол — ползи посушись.

Расступились клены; россыпь помета свежего. Ночью лось навестил. Еще одногодком приметил братца. Теперь — молодец-шестилеток.

Треть лужка обнесена добротнo слаженным плетнем. С плетня воробьи тучкой сорвались.

На огороженном травяном месте — крытая дерном землянка с краснеющей кирпичной трубой. В вольной траве чуть заметны тропки; вьется одна к баньке, что под липами прячется, за краем лужка. А от баньки тропа — к роднику, не видному за репейником, крапивой, снежно-ягодником. Журчит вода, сливается студеная в просторную барку, врытую глубоко в землю.

Откинулась дверь баньки: девица, в чем мать родила, ядреная, во всей созревшей женской красе, бегом к роднику. Вдруг пригнулась, ладоши — к низу живота.

— Отвернись, папа!

Оглянулся на лес: не глядишь, лось-молодец? Не притаился за ветвями сатир, беспокойно подергивая рожками? Ветерок пахнул, шелохнул листву. Никак арфа лесная зазвенела? И как бы голос послышался, с козлиным схожий, исходящий сладострастьем:

*Прелестнее вакханки не сыскать...*

Рыже-белая кошка мелькнула в траве, подбираясь к плетню с трясогузками, синицами. Жирный кот спит на тесовой крыше баньки. Из трубы — дымок пахучий; береза горит.

— Ой, как в прорубь нырнула! — плеск ключевой воды. — Ты что не уплыл, папа?

— Еще уплыву.

— На "Коммунаре"? Теперь долго ждать.

Недолго... О ногу трется котенок. Вот и второй, третий. Самого любимого посадил на плечо. Шорох по траве — закрылась банька.

Потянул на себя тяжелую, посаженную внаклон, под острым углом, дверь-крышку. Сошел в землянку по ступенькам из плотно пригнанных один к одному дубовых кругляков; стены, пол, потолок — из твердейших досок от разобранных волжских барок. Русская печка; под самым потолком, во всю длину стен — щели, застекленные осколками, слепленными смолой. И невдомек никому, что осколки — полоски цельнолитого стекла, из тех, что когда-то сияли, зеркальные, в окнах дворянских собраний.

Стол выскобленный, полати, лавка; два чурбана вместо табуреток; станок с точилом, кадка с квасом, ковшик плавает; в углу — ушат деревянный. Стены обвешаны охапками полыни, пучками иван-чая.

Рогнеда вошла; полотняная рубашка до пят. Тщательно промытые рыжие волосы гладко расчесаны, до бедер длиной. Оранжевые умные глаза, носик вздернутый, в веснушках едва заметных; рот великоват; как красен! Сбереженное от солнца личико после баньки румяно.

— В деревне слыхала: кто в макушку лета парится часто, тому вся жизнь —

лето! — рассмеялась, скользнула к зеркальцу, вмазанному в белую глину печки. — В такую жару какая-то липкая ходишь, а попаришься — ласточкой себя чувствуешь, папа! Порхать хочется!

Лег на лавку, заложив ладони под затылок с косицей.

— Поешь, папа?

— Спроворь, милая. Как купчики говаривали.

Хохотнула. Откуда тебе знать, что за купчики были?.. Не об одних барышах толковали за самоваром. Какие храмы строили, состояния жертвовали. И социалистам благодетельствовали тоже.

Раздвинула охапки полыни, толкнула неприметную дверцу; вынесла из кладовки тарелку с нарезанной ветчиной, миску с размоченными галетами, консервную банку с американскими бобами.

— Папа, опять видела на берегу толпу детей. Лягушек ловят, вы-ползней собирают: животы вспухли! — неожиданно навернулись слезы.  
— А мы... вон что едим!

Сел за стол.

— Их отцы пожелали... новой жизни.

— Они хотели счастья, папа!

— А мы — несчастья?

— А вы их счастья не хотели!

Сказала — и какой страх в глазах. Как боится его! За что — такое?  
Впрочем...

— Худо тебе со мной, Рогнеда.

Отвела взгляд. Как же ты в деревенской школе притворялась?..  
Встал, не притронувшись к еде, опустился на лавку.

— У тебя кончается "Абрау-дюрсо".

— Кончается! Все!.. О счастье толковала... Все эти годы здесь — оно у меня было!

Быстро подошла, гладит поросшую редко-колючим волосом щеку.

— Болен, папа?

— Мне помогал здешний воздух...

Молчание.

— Милый... — обвила ласкающе-горячими руками, к груди

прильнула, — это нельзя, но мы же не кровные... Ты мужчина — я все знаю — тебе нельзя одному...

Резко отстранил, скрипнул зубами.

— Ты так с ума сойдешь! Я в книге прочла, когда клеила. Ты одни старые привозишь... ты не старый еще, тебе не воздух...

— Принеси книжку!

Метнулась в кладовку; подает. Истертая синяя с прозеленью обложка. Фаддей Веснянский. "Безумие мученика".

Для разумников, как Веснянский сей, безумие — любовь.

## 6

Осенью девятнадцатого свалил сыпняк. Следом — возвратный тиф. В санитарном поезде — сестра милосердия; за тридцать, старая дева. Сухощавая, с пористым сероватым лицом, впадинки под скулами, горячий блеск в глазах.

— Вы бредили о Воздвиженке на Волге. На другом берегу, в Винновке, — мой дядя Конырев. О чем вы кричали! Как бились! Вас в бездну тянут!

— Спасите, ежели охота пришла.

— Не смейтесь! Я без позволения на войну ушла! У моего отца в Самаре — москательные лавки, торговля теплым товаром, хлебная... Были... — перекрестилась двуперстием.

— Раскольница?

— Мы — христиане истинные! У меня чахотка, век мой короток. Но даст Господь-Вседержитель — еще послужу...

Головная боль, тоска кровоточащая; безысходность. Армия бежит, бежит от красных; разваливается.

— О себе сам позабочусь. Уйдите!

Вдруг показала его "Веблей-Скотт", бросилась в тамбур. Вернулась, дрожаще-изнуренная:

— Страшное задумал! Измаялась в крови душенька твоя, мрак, скверна в тебе. Единое светлое пятнышко вижу: стожок на поляне.

Вспыхнул желтый фонарь в вагоне ночном. Затрясло, застилает пелена глаза. Заговорил, заговорил о цветущих лугах вокруг Воздвиженского имения... как мальчишкой взбирался на Царев курган, подраненного коршуна выходил. Как скакал, с родным гнездом прощаясь, на игреневом дончаке. В двенадцать лет.

"Я там начался! Мы там все начинались..."

— Вот оно, истинное, в тебе светит!

Приблизила исступленно-горестные глаза.

— Когда женщину познал? Отворяй душу — не стыдись меня. Сколько горшков из-под тебя повынесла.

— Четырнадцати, в Самаре в номерах...

Плюнула яростно. Застонала.

— Отроком забрал враг! Укрепились бесы в тебе. Язвы! язвы! От гордости язвы!..

Отвернулся к стенке. Восемь месяцев назад жена-красавица ушла к желтому кирасиру фон Штамму, любимцу атамана Анненкова.

— Прелесть бесовская... блудницы... тьфу! — шепот прерывистый,

кашель. — Они, мерзкие! Они...

”Я мерзее”.

— Не каялся, ожесточался — кровь пролитая тебя сжигает! Язвы гноятся! — сжала плечо дрожащими руками, прижалась мокрым от слез лицом. — Господи, что делаю! Срам какой... грех какой... Господи, прости! Обрати мой грех ему во благо! Не отдай его душу! Спаси, сохрани...

Вскрикивают в бреду, стонут раненые; трясет вагон, мечутся тени; сестра милосердия молится шепотом, задыхается, крестится истово, вздрагивает в плаче. Не скоро затихла.

— Под утро с поезда сойдем, не противься. Поведу. Узришь твою отчую поляну.

— Имя, сестрица?

— Секлетя, брат.

## 7

В двадцать первом, в голод, появилась в Винновке у мельника Конырева чахоточная племянница с муженьком полудиким.

— Ты не башкир? — спрашивали севшими от истощения голосами.

— Моя не баскир!

— Должно, вотяк али самоед.

— Ага, моя сама ест. Только давай!

— Э-ка, развеселил! Хитер выжига. Давай ему! Кликать-то как, леший?

— Орыс. А по-русски — Сидор.

На пристани подобрали с Секлетеей снятого с парохода умирать заморыша: девочку лет приблизительно от пяти до восьми.

Тогда почти вся Винновка повымерла. А потом пришлые стали оседать. Манили заросшие просторы. Сидор с бабой и приемышем перебрался от Конырева на Еричий полуостров, вырыл землянку; стал резать из липы ложки, посуду, точил по Винновке ножи, топоры; на Еричьем косил сено для мужиков; сезонами подряжался работником к Коныреву.

В начале зимы двадцать четвертого года умерла Секлетей. Ночью попросила уложить Рогнеду в баньке, вытянулась на лавке, иссохшая; под голову велела подсунуть мешок со стружками. Назвала верных людей: через кого продовольствие добывать. В тайниках немало ценного сохранилось от отца, убитого красными. И должники остались.

— Господь не оставлял тебя, Сережа... Иду молить, чтобы и впредь не оставил. Умолю, чтоб умягчил твое сердце, чтоб ты грехи отмаливал, не помышлял о мщении...

— Ложки режу я, Секлетей. Липой доживу.

— Не шути, Сережа. Не иной кто — я ухожу! Нянька твоя, сестра, мать.

Глаза сухие, колят.

— От дома твоего — осколки... узенькое оконце, а светит. Отворишь окошко в душу твою! Прими истинную веру! А наши не по тебе тут — в Америку пробирайтесь с дочкой. Денег вдосталь.

Сжал ладонями ее изжелта-серое лицо, коснулся пальцами ямок под скулами.

— Если б не захотел с тобой с поезда сойти, давно б в Америке был. Сквозь вот эти стеклышки на меня, младенца, здешнее солнце светило. Воздвиженская церковь, где крещен, устояла. Святой мой — Сергей Радонежский.

Повлажнели глаза; в последний раз тихо заплакала.

— От людей ты отпал, но и Богу не служишь. Вымолю просветленье тебе... Господи, наставь.

Гроб с покойницей увезли на барке в Самару. Секлетей! В лихорадочные годы привела в заповеданное место, подарила покой среди Еричьей красы, тихости...

Что до людей? Живу как деревья, травы, рыбы.

Весной послал Конырев купить тройку лошадей. Издалека пригнал кобыл, молодых, диких, хряпящих. Объезжал на выгоне у Винновки. Дивились мужики:

— Как чует он лошадь-то!..

— Татарин!

— Да не татарин он!

— Все одно — татарская манера... то-то и нюх!

— А руки-то, примечайте: верткие, что щучки! Все-е-о знают!

Перед коллективизацией сгинул Конырев. Ложкарь, в одной рубашке, в опорках на босу ногу, по глубокому снегу прошел в правление.

— Моя говорит, Егор — враг большой! Искать нада! К стенке ставить нада!

Был записан в колхоз как первейший, зарытый в землю бедняк, который тянется из одичалой тьмы к сознанию момента. Приволок на веревке все хозяйство свое: длиннородую козу, хрипевшую от какой-то хвори. Козу поспешили прирезать: кровь из горла не била, лишь вытекла малость.

## 8

Четыре дня минуло с того утра, как не уплыл в Самару. Переправил в Винновку заготовленное сено. Ночью изрубил выкорчеванные, в три обхвата, пни, распалил костер в два человеческих роста: как багровело вокруг! Как снопами искры уносились! Как трескуче-яростно рвалось сердце кострища!

Сегодня было облачно, вечер прохладен. Моросит; на рябой реке — лодка. Тихон с удочками. Жигулевские горы — за сумрачно-густеющей дымкой. Небо над горами заволочли тучи, грознеют.

Присел меж деревьев у края обрывчика; на стволе тополя — змейка тонюсенькая: муравьи спешат вниз; стрекоза на ромашке — глаза вспыхнули,

отразили зарницу. По отмели голуби бегают; метрах в ста, под песчаным откосом, костер чадит. Мальчишки над котелком.

— Моя-твоя шастает.

— Оп овраг знает, куды лоси-то уходят сдыхать. Их жрет.

— Дед Малайкин все хотел выследить, да помер.

— Сколь дней бабка-то проживет?

— А Степугановы Прошка и Колька свежатину досыту...

— Так и свежатину?

— А то! Степуган жеребенку глаза выколил, с председателем браковку написали. С печатью! Зарезали, с ветельнаром поделили...

Застрекотала сорока: от перешейка рысил всадник. Повернул на дым костра, вздыбил лошадь на краю откоса, с мальчишками заговорил.

Вернувшись в землянку, застал Рогнеду у бурлящего самовара, посуду расставляет.

— Оставь только чашки. Гость к нам. В бане закройся.

Прибавил пламени в лампе; снаружи фыркнула лошадь. Откинулась дверь. Постояв, осторожно спустился крупный человек в парусиновом плаще.

— Оперативно определил ваше лежбище, Сергей Андреич!

Сняв плащ, поискал глазами, зацепил за сучок, торчащий из доски, фуражку положил на стол; расправил чесучовый френч. Сел на чурбан.

— Экая краля шыгнула на зады! Зря опасаетесь, Сергей Андреич. Рыжая, а я исключительно смуглокожих уважаю! У меня молодочка, с Дона, волос — вороново крыло! Даже и по ноге эдак мелко курчавится... нехорошо чего-то глядите — не по вашу я жизнь... А это, характер ваш зная, на случай, — положил перед собой наган.

— Ковш! — взгляд на кадку.

Гость, оторопело зачерпнув, протянул. Короткий взмах — квасом плеснуло в ноздри: захлебнулся. Наган — в руке Ноговицына.

— Встать! Говорить!

Вытянулся, не смея утереться.

— Да што я, господин капи... Ну, понял — верх ихний будет. Вы-то — шасьт за границу, языки знаете, обхождение. Пристроитесь. А? Своя тропка нужна...

Вытащил Ардатова. Скрой он про меня, словечко замолви — если б не в ЧК на службу, то младшим командиром я б стал на первый раз. А он, как вышли к краснокам, на меня: "Палач! В трибунал!" К палатке трое

ведут. Один — сопля. Я — споткнись, он меня невзначай штыком в локоть. Я в стон. Оборачиваюсь:

”Чего калечить-то?” Бац — винтовку! Одного — пулей. Соплю и другого — штыком. И скитался же я...

Держа наган в правой руке, Ноговицын левой налил полчашки чаю, отхлебнул.

— Присесь-то можно, Сергей Андреич?

— Продолжать.

— А в двадцать седьмом я самолично Ардатова нашел. Не верите? Он в причастности к троцкистско-зиновьевскому блоку обвинялся. Тут всяко лыко в строку. Я сказал ему: ”Пускай меня кончат. Но сперва на вас докажу: вы екатеринбургское подполье выдали! А про трибунал нарочно кричали, сами ж мне и бежать помогли!”

— Дальше.

— Пристроил поваром. Потом обвинение с него вроде сняли. Подфартило. Помните Мещеряка? Ардаатов его обвинил в правом уклоне. И Альтенштейна. А Коростелева, что Нотариусом проходил, обвинил как главаря контрреволюционной крестьянской партии... И в верхи взлетел!

— Всех этих людей, благодаря тебе, он спас тогда, в девятнадцатом.

— Ну, тогда-то!.. А теперь, при его делах, я ему — нужнейший человек! Я теперь — Фрол Иванович Гуторов, уполномоченный Самарского исполкома по сплошной коллективизации. А Борис Гаврилович — ответственный аж за все Среднее Поволжье, включая Оренбургскую область. Это ж восемь миллионов душ! Сколько деревень — к ногтю! Овцы друг на дружке шерсть гложут. Скоро краснопузые мужички своих мертвяков, детеньшей жрать будут!

Выбил из барабана патроны, метнул горсть через всю землянку —

прямо в ушат. Швырнул наган гостю — одной рукой словил, спрятал.

— Мой отец, тайный советник, под началом блаженной памяти Петра Аркадьевича Столыпина служил. За престол и свою, и мою с братьями жизнь отдал бы. А ты-то за что их ненавидишь?

— Так и стоять мне?

Чуть наклонил голову: гость сел, промокнул толстое лицо подкладкой фуражки.

— А мой папаша скотом промышлял. Прасол потомственный. Овец своих, чистопородных, одна к одной, до полтыщи бывало! Барана с выставки — и на стол! Не жалко. Деньгами ссужал, кожевенный завод приглядывал... Сладка им наша баранинка...

Огромные руки дрожат; в запястьях мослаки — с куриное яйцо. Пот капает с лица, губы кривятся.

— Общее у нас дело, Сергей Андреич. Я к вам чего? С вашей-то головой, сноровкой мы им в сто раз больше урону нанесем! Желаете, по финчасти приставим? Или в нарпит? А то — по заводам охвостья Промпартии выявлять, хе-хе. Все в наших возможностях. У Ардатова — какие главари в друзьях! Кедров — он в Архангельской губернии, в девятнадцатом — ого! шесть тыщ семей расстрелял, у кого мужиков мобилизовали белые. Сокольников! Осенью восемнадцатого, в Ижевске, — пустил в расход семь тыщ рабочих. Белобородов — обеспечил распыл царского семейства. А разве не поделом? Царь-то и довел до всего...

— Болтлив стал, Витун.

Привскочил, оправляя френч:

— Виноват! А я вам водочки привез. В седельной сумке — мигом...

— Не надо.

— Отвыкли никак? — помолчал. — Чем пробавляетесь-то? Квас — вон, а хлебушек?.. Не скажете, знаю. Гордость.

”Смирения мне! Смирения...”

— А вы у меня не одни здесь. Вон чего активист мой тутошний доносит! — вынул из нагрудного кармана сложенный лист, развернул. — Не слышали про такого Степана Калистратова? Коровенкам хвосты крутит. Ликбез — впрок.

Стал читать, навалиясь грудью на стол, подставляя бумагу под свет лампы:

— Тихон Ханькин владеет двумя лодками и вражески агитирует, что над обчим стадом поставлен вредный пастух, — поднял взгляд на хозяина;

ухмылка. — Сторож с пристани Ксенофонт Лялюшкин скрывает, что сын дьячка, от мово трезвого глазу, какой поставлен сверху начальством, подпольно укрывает кролей числом пять.

Наклонился ниже, разбирая каракули:

— Отказал сдать в колхоз лайку вражеским именем Злодей, в какой лайке нуждаемы для шапок и другой обувки. А его прежнего кобеля злодейским именем Карай я бесстрашно заколол вилами за саботаж, как лялл против заготовки яиц... — в смехе запрокинул голову.

Палец вонзился во впадинку внизу горла — гость дернулся; выпучив глаза, зевая, как выловленная рыба, отвалился на пол.

Струя кипятку из самовара: вздрогнув, взвизгнул, рванулся. Замычал, замерев.

— Не один я у тебя здесь? Сровнял?

Не шевелясь, в ужасе глядел снизу на исходящий паром самовар.

— Ни чуточки не переменялись, Сергей Андреич... — перевел дух.  
— Не тешьтесь.  
Кончайте топором.

Поставил самовар на стол.

— Чай пью без сахара — пою горечью. Нынче твоей заваркой круто заварю. Может, на какой чашке и решу.

Гость тяжело поднялся по ступенькам, выйдя в сырую тьму, дверь открытой оставил. Уже с лошади крикнул:

— В Самаре найдете меня! Приятственной ночки!

Топот стих за лугом.

Пришла Рогнеда, зябко повела плечами, закрыла дверь на засов.

— Кто это был, папа?

Разводил в бутылке чернильный порошок.

— Бедняга.

— Ты чем-то помог ему?

— Помогаю.

## 10

Весь день — дождь. Ворона каркнула близко: в печной трубе, что ли? Вбежала Рогнеда, вымокшая в полотняной рубашке, поставила на стол в узкогорлом резном кувшине три камышинки.

Исписывал при керосинке лист за листом плотной бумаги; почерк ровный, разборчивый, с сильным наклоном.

К ночи посырело в землянке, Рогнеда затопила печь. Заварил клейстер, заклеил сложенные листы в три самодельных конверта из бумаги жесткой, дореволюционной выработки, с водяными знаками. Открыл принесенный из кладовки сундучок с книгами, в одну из книг сунула деньги, на базаре наменные; нашел среди них почтовые марки. На двух — серп и молот; на третьей — всадник алый под звездочкой.

Рогнеда, как обычно, спала на печи. Еле-еле забрезжило — поднял девушку.

Потянулась, расчесывает огненные тяжелые волосы.

— Что с тобой, папа?

Страстно-прекрасное лицо. Нездешнее. Под слегка припухлыми веками — глаза влажные; блестят, будто и не спала.

Усадив за стол, сухо распоряжался. Немедля взял узелок — вот он приготовлен — идти на пристань, к пароходнику "Эра". В Самаре поспеть к почтово-багажному поезду; там почтовые ящики — неприметные щели в вагонных обшивках...

Рядом с узелком положил обернутые газетой, крест-накрест перетянутые шнуром конверты. Перед поездом газету разорвать, конверты, на адреса не глядя, в щель почтового ящика опустить. Потом — на скорый, в Красноярск. Оттуда пароходом — в Абакан. Искать тайный старообрядческий скит. Все отдать: проситься воспитанницей. Пожив в скиту, решать — там остаться или идти в мир.

— А ты, папа?

— Себе оставил кольцо с рубином. Мать любила.

Отвернулся. Не мог смотреть, как заходится в плаче. Выскочил в туман, заперся в баньке. И лишь увидав в оконце замелькавшую меж деревьев фигурку, вернулся в землянку, обессиленно влез на полати, заснул непробудно.

А на самарском перроне девушка, когда поезд, протацившись, встал, не стерпела. Перед тем как сунуть конверты в щель, прочла: "Председателю ОГПУ...", "Наркому юстиции...", "Военной коллегии..."

## 11

Проспав до другого утра, нашел на берегу давешних мальчишек, привел в землянку. На столе: открытые банки тушенки, икры красной, черной; сыры, сало, балыки, языки копченые... снедь, какую не всегда и на самарском черном рынке добудешь, какую возил в мешке от людей ушлых, битых, заматерелых.

Но накинулись гости на галеты, на пряники ржаные.

— Уносите все! Запасайтесь!

Кто доживет, расскажет внукам сказку об Орысе. Будут и внуки клад искать в яме заросшей, заваленной гнилушками.

Истопил баню, набросал на полок свежего сена, с душицей, выпаренного в кипятке. Щедро плескал на раскаленные камни квас, настоянный на хвое.

Исхлестал о тело поддюжины веников.

В землянке, багровый, сидя за опустевшим столом в чистом исподнем, выпил самовар чаю, то и дело наклоняясь к ушату у ног, омывая лицо ключевой водой. Взбил пену в жбанчике красной меди, бритвой золлингеновской стали обрил голову; сбрил бороденку. Оставил лишь узкие усики, как носил когда-то: две косые полоски — стрелками вниз за уголками рта. Не обошлось без порезов: расшитую утирку в пятнах кровавых швырнул в горящую печь.

Подняв рундук из сухого подполья кладовки, достал гимнастерку, галифе, сапоги яловые. Взглянул в зеркало: похожий на японца подбористый офицер, моложе своих сорока четырех.

Взял отложенные галеты, приготовил скатку, не забыв бритву и помазок, овальное, оправленное перламутром зеркальце. На отмели сколотил плотик. Ночью сплавился по течению на самый нижний островок, с камышом, с осокой. Нарубил ивняка, поверх постелил шинель. Дождей не было, двенадцать суток прожил под чистым небом, глядел на звезды.

На рассвете бросил в котелок с кипятком последнюю галету, высыпал соль. Поев, смотрел на рдеющие угли, кидал на них камышинки.

Кликнул проплывавшую мимо лодку. Парнишка греб к берегу изо всех силенок, косясь, разевая рот.

Снял кольцо с рубином, опустил в прозрачную воду. Отдал реке.

На мыске стояла тощая коровенка. Травка на красноватой глине реденькая, репейник. Солнце поднялось смиренное, нежгучее: осень вот-вот. Несколько мужиков у дороги кромсают ножами павшую лошадь; кровавятся внутренности;

на сорной обочине бабы в очередь вытянулись — с лоханями, с торбами, с корзинами.

Спрыгнул с лодки, пошел, слегка косолапя, пыльной дорогой в Самару.

## 12

За столом — лысеющий человек в легком палевом костюме, на косоротке — померанцевые пуговики. Лицо моложаво, под глазами не припухло, а белки — в багровых прожилках. Нет, не от водки. Ранняя глаукома?.. Неотвратимое приближение слепоты. Интересно — знает? Мрачно-безразличный человек из Белокаменной.

Сбоку у стены, за столиком, — некто со шпалами на петлицах. На столике — пишущая машинка итальянской фирмы "Оливетти".

Заговорил человек в штатском:

— Гуторова-Витуна мы допросили. В основном — подтверждается.

Сказал очень тихо, как умеют говорить привыкшие к власти над жизнью и смертью. Уверенные, что словечко каждое с губ поймают, уяснят. Подровнял бумаги в стопке, приподнял лист:

— Ардатов исправно исполнял поручения контрразведки, вознаграждался... псевдоним — Регент, он же — Старицкий... Обслуживал и разведки стран Антанты, у англичан фигурировал как Джокер...

Пауза. Как и положено, ничего не выражающий взгляд.

— Почему вы довели это до нашего сведения?

Усмехнуться, податься вперед:

— Обрыдло! В глуши, с мужичьем сиволапым! От созерцания реки постылой осатанеешь! Этот, пардон... — ткнул пальцем в бумаги, — обещал за границу! Счет в банке! Десять лет ожидания...

Ногу на ногу.

— Ах, ждите! ждите! ждите! — смех — почти истерический. — Кровная арабская лошадь, Булонский лес! Большие бульвары...

Глаза подернулись дымкой мечтательности.

*За красной портьерой шантана...*

— Прекратить.

Провести пальцами по отросшей щетине:

— В последний приезд Витун передал приказ Ардатова — еще ждать. Издеваться?! Не позволю!

— Чего ждать?

— Устранения ваших лидеров, расчленения государства. Помимо Ардатова, в заговоре участвуют Белобородов, Кедров, Сокольников.

Застучала "Оливетти". Впереди тьма, но уже блестит в ней топорик. Начался отсчет минут до тех последних, когда названных сволокут в подвал, ударит в затылок пуля и брызнет кровь, как она брызгала у десятков тысяч их жертв.

— Хотите чаю?

— Благодарю. Нельзя ли рюмку хорошего красного вина?

— Позже.

Ткнул кнопку. Дюжий, лет двадцати пяти, глазки близко посажены — принес чай в стаканах с подстаканниками. Удалился, будто нехотя.

— Поговорим подробнее.

— Я знаю от Витуна, что ему известны подробности от Ардатова...

Вдруг взбрело: а этот человек наверняка еще не был на Волге! Не сидел ночью на косе у костра. Сварить бы с ним бурляще-жирную уху... Остудив, похлебать из котелка стерляжью...

Совсем спятил! Как там у Веснянского? Безумие мученика...



Рассказ, написанный к 50-летию Октябрьской революции

Владимир Батиев родился в 1947 году в Москве. Был членом первого "неформального" литературного объединения СМОГ. За антисоветскую деятельность был приговорен в 1966г. к 5 годам ссылки в Красноярский край. Через два года был выпущен по амнистии. Печатался в СССР и за рубежом. В СССР под псевдонимом опубликовал около 300 юмористических рассказов. Является автором четырех книг. С 1995 года живет и работает в Германии.

ВЛАДИМИР БАТШЕВ

## Как это было...

Голодухой расплывался девятнадцатый год по городам. Вся надежда — на деревню.

Лом с Клашкой отправились с продотрядом: городу помочь, самим подкормиться.

Но налетела бандочка Вьюна. Не успели опомниться, а уже с боем отошел отряд питерских пролетариев, отбиваясь от контрреволюционной нечисти.

Лом и Клашка, оставшие от своих во время налета, задержались в деревне.

Деревня молчала. Затыкающая уши и раздирающая рты жара ушла.

Тише шли коровы.

Ни ветерка.

Вышел Лом на обочину и поперхнулся. Было — "Деревня Молчановка". А теперь на шесте — "Владения Бесенятские".

Сплюнул Лом, занес руку перекреститься, да опомнился.

— Красноармеец я али гад? В нечистую силу верить? Нет ее. В памяти плакат: "Религия — опиум для народа".

Но посинело вдруг. Синева вместо палящего неба. Удивился Лом: рано вечеру-то.

А тут еще выскочил черный, с подпалинкой бес. Выскочил, уставился.

— Бес?

— Ага.

— Откуда?

— Отсюда. Из сказки о попе и работнике Балде.

— Пушкин, что ль ее написал?

— Он самый, Сан Сергеич, царство ему...

Отмахнулся, как от комара.

— Но-но, ты мне без религии! И вообще, какая к черту чертовщина? Революция не про вас, что ли?

Захихикал бес, присел, хвостиком ножку обвил.

— Дурак ты, Лом! (Ишь ты, и меня уже знает!) Мы же из сказок. Новых сказок не написали, вот и приходится старым сказкам приспособливаться, в ногу со временем идти.

— Врешь!

— Ни.

— Тогда валяй. Сам-то за кого будешь?

— Я-то? Я — за белых.

Взял беса на мушку.

— Шучу, шучу, Лом! Белые нас, ух! Как не любят. Прячься, дурак, белый разъезд.

Швырнул Лома за плетень, плюнул — и пропал.

Синело.

Белые. Треск дверей. Клашка потянулась наганом.

— Положь, — шепнул Лом и вытащил свой "веблей" из дыры в штанах.

Застучала Клашка зубами, словно "ундервуд".

— Стерва! — рванулся Лом. — Услышат! Мимо, мимо, как сквозь стены пусть идут, — просит беса Лом. Тут же себя за губу — в нечистую силу верить? Нет ее.

— Сволочи, — дрожала Клашка.

Было сине. Ветер шарил в глазах слезою. Вечер ширился, распухал, как голод.

Идут. Затопали. Солдат шарил штыком в темноте, но войти боялся. Офицер (сверкнул погон) вошел в дом и стрельнул. Вышел.

Лом замер, но офицер сквозь стену прошел. Совсем темно стало. Ушли. Заворочались камни под сапогами. Чудеса. Клашка облегченно выдохнула кусок темной синевы. В глазах у нее еще синело.

Лом повернулся на скрип и увидел хвост.

— Ты чей же будешь?

Хвост дернулся. Вылез черт, другой, не тот, что был, рыжий. Глаза грустные.

— Еще один! Прячешься?

Кивнул.

— Ты какой же черт: красный или белый?

Черт махнул хвостом.

— Интернационалист, значит.

Черт был не стар. Кивнул на Клашку — вопрос.

— Нет, сестренка.

Ухмыльнулся бес. Откуда-то вытащил бутылку, большую и желтую. Разлили. Плохо пошло. Черт тут же стукнул Лома под лопатки — аж вывернуло. Выпил воды.

— С нами? утром пойдем.

Утро просквозило. Черт нес узелок с колодой карт и лампой. Дорога на Низовск — кочки да бочки, грязь затвердевшая. Валялись гильзы и дырявая подошва.

В Низовске было сто три красногвардейца с сорока винтовками, ЧК и комиссар.

Со стороны Ирпени на Низовск полз штабс-капитан Ершиков с отрядом в триста сабель, а по Московскому тракту прыгали на своих откормленных жеребцах батьки Хмель, Вьюн, Лук, Чеснок и Зашибеев. До самого Воронежа доходили батьки, но неизменно возвращались к родному Низовску.

Лом, Клашка и черт явились к председателю ЧК.

— Порядок, браток! — выплюнул тот, прижимая бумаги Лома ящиком. — А этого куда? — махнул на черта.

Черт вытащил из шерсти наган.

— Ну, ты, на баке, не балуй! Пойдешь помощником к начтюрмы. Ну, и нечисть, — ухмыльнулся на всю тельняшку.

— Браток! — заорал Лому. — Ты чуешь? Это же чистый Ренессанс! Чертей под ружье! У нас сто три бойца! Всех чертей Республики! Браток, ты — герой!

Комиссар. Потная гимнастерка.

— Не ори. Это же все суеверия, нет их, чертей.

Черт брыкнулся.

— Ну и что? Мистика, гипноз по-научному.

— Иван! Хрен с ней, с мистикой! Наша мистика, а не буржуйская.

Верно, браток? Плевать нам, пусть буржуи своих буржуют нечистой силой пугают, а мы ее — на службу Революции! Понял?

Засмеялся комиссар. А вдруг? А кто сказал, что чудес не бывает?

Батьки Хмель, Вьон, Лук, Чеснок и Зашибеев на своих откормленных жеребцах скакали вокруг города. Вонючий штабс-капитан Ершиков со своим отрядом в триста сабель полз от Ирпени.

Город окружали. Первым и единственным снарядом низовского гарнизона были накрыты съехавшиеся батьки Хмель, Вьон, Лук, Чеснок и Зашибеев, а также полевая кухня и телега со старыми портянками.

После этого началась стрельба.

Лом в ЧК пускал контру в расход. Привык в Питерской ЧК.

Клашка подтаскивала патроны. Привыкла. С октября семнадцатого.

Черт вызывал па помощь сородичей. Привык. Со времен Ник.Вас. Гоголя.

Бой длился уже больше часа. Все теснее сжималось кольцо белых и бандитов. Казалось, ничем не остановить.

Но посинело вдруг.

Ухнуло что-то, захандокало, заербило, громыхнуло, и вся нечистая сила бросилась на белых.

Из трущоб,

пропастей,

из расщелин —

речные,

луговые,

озерные,

черти и чертенята,

бесы и бесенята, и совсем еще маленькие

бесеночки,

домовые и домихи,

гуменные,

листочьясы,

корневые,

дупляные,

моховые,

полевые,

чужаки,  
наброжие,  
облом,  
костолом,  
кожедер,  
тяжкун,  
шатун,  
хищник,  
лядашник,  
голохвост,  
друн,  
шпыня,  
куреха,  
шандырь-шептун  
и шептуха —

разом навалились на врага и погнали далеко-далеко. И был только слышен их свист за семижды семь перевертов. Выбежала Клашка. Толпа бойцов беса ржавого качает. Лом. Башка в тряпку замотана.

— Ну, чего ревешь, дуреха, живой я, его благодари, — на черта показывает.

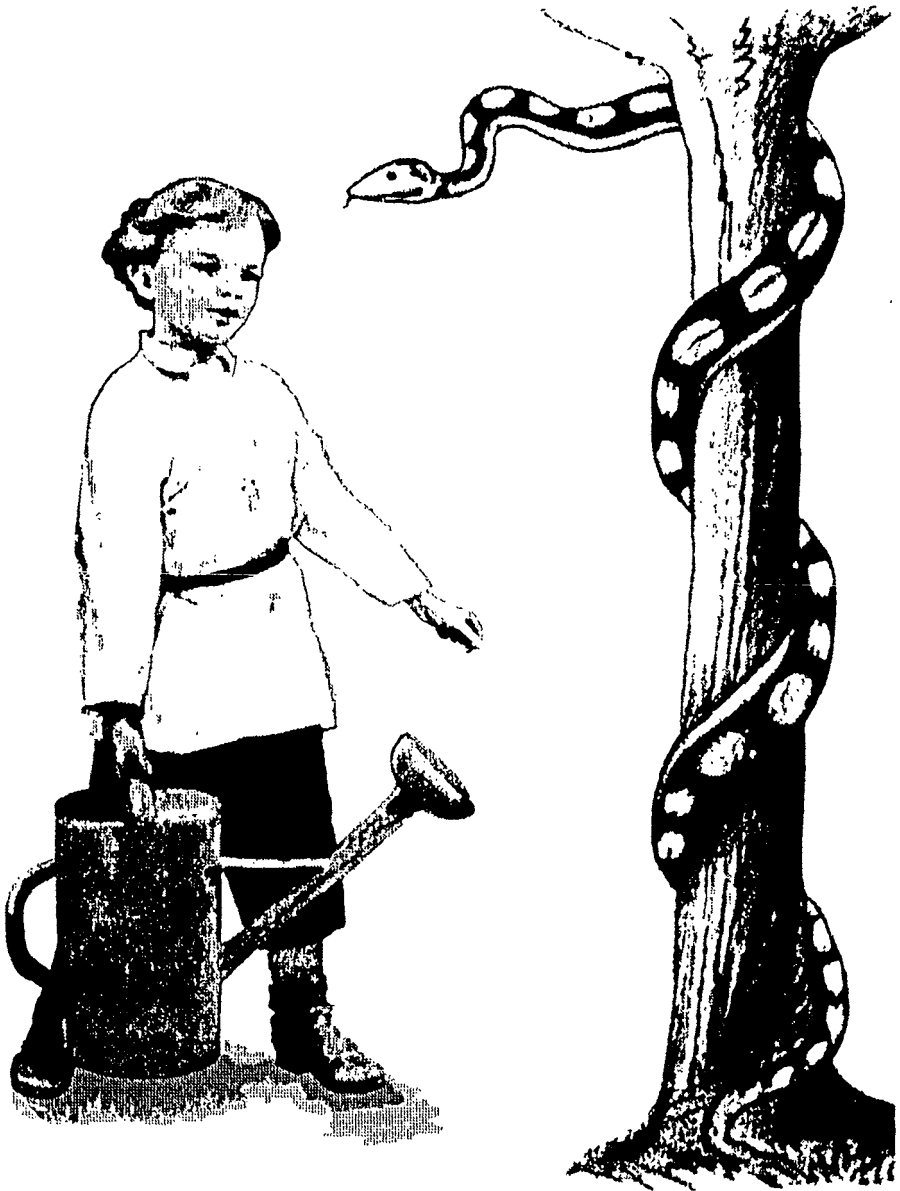
Комиссар на крыльце. Потная гимнастерка.

— Нет, не верю. Нет ее, нечистой силы, мистика это все, гипноз по-научному.

А наутро в реввоенсовет поскакал с пакетом гонец. А в пакете была бумага, где написано про тот героический бой низовского гарнизона.

А в бумаге ревком от имени всех ста трех бойцов с сорока винтовками просил наградить Беса Ржавого Орденом Мировой Пролетарской Революции — Красным Знаменем, потому, что ежели бы не он, бес ржавый, порубали бы в Низовске Советскую власть. А ежели нельзя наградить его Орденом, то пуцай реввоенсовет наградит его именным оружием или часами”.

Но в реввоенсовете товарищ Троцкий сказал, что нельзя награждать нечистую силу ни оружием, ни часами, потому что нет ее, нечистой силы. Гипноз это все, мистика по-научному.



---

СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА

# Товарищ Вова

Рассказ

*«Наших деток в шумной школе  
Раздавались голоса...»*

Он был один с таким именем в нашем классе, сам набор которого ясно указывал на его цели: каждого — по одному. В параллельных классах четыре-пять Владимиров, Елен, Николаев, а уж Евпраксий и Гермогенов что кур нерезаных; у нас же — эксперимент, ставка на развитие одиночного экземпляра.

Раньше ошибочно полагали, будто дитя — это табула раза, пиши на его лбу, что хочешь. На самом же деле, если ты сын человеческий, то сразу обязан чувствовать свое, так сказать, имя. Казалось бы получи еще в младенчестве, в пору бессознательную, и с гордостью носи, — так нет. В любом имени, оказывается, заключена идея, какой-то там эйдос, который неминуемо, мол, проявится в твоей жизни. А у р а, как теперь говорят. И тянешься ты за своим именем как нитка за иголкой, через тернии к звездам — через всевозможную немислимую космическую чепуху. Даже у каждого отдельного звука твоего имени есть свой лучик!

Впрочем, разные бывают имена. Одни давно канули в реку, камнем легли на ее вязкое дно. Другие образовали неумеренное количество обыденных вариантов. Третьи же стали излучать. Да! Сияние сил стоит над иными именами, и за примерами ходить недалеко — у нас ведь страшное богатство истории.

Я как сейчас помню белые стены нашего класса, снизу доверху уве-

---

\* Этот рассказ — фрагмент из повести «Сон Вовы».

шанные изображениями наших образцовых тезок: стань таким же, как они, или попробуй, сотвори себе свое имя заново, сотвори и войди в ряд!..

Эту и подобную, как потом оказалось, опасную чушь каждый день заколачивали в наши детские головки. Им, видите ли, стало вдруг интересно, какая энергия может взыграть в ученике, как сургучом, припечатанным своим именем, — выйдет он в дамки или же так и останется иван-дурак. Однако многие, что характерно, поверили и начали стараться, кто как мог.

Не знаю, поверил ли мой товарищ. В его оправдание хочу сказать, что ему, конечно же, было труднее остальных. Ведь имечко ему досталось фундаментальное, просто надежда человечества да и только, ибо принадлежало оно к наивысшему ряду, где засели великие властители дум, как теоретики, так и практики, и среди них один совсем уж гений из гениев, это я, без иронии, но конкретизировать, однако, не буду — тогда было е щ е нельзя, теперь у ж е... вы сами все отлично знаете...

«Маленького роста, крепкого телосложения, с немного приподнятыми плечами и... большой, слегка сдавленной с боков головой..., имел неправильные — я бы сказал, некрасивые черты лица: маленькие уши, заметно выдающиеся скулы, короткий, широкий, немного приплюснутый нос и вдобавок большой рот с желтыми, редко расставленными зубами. Совершенно безбровый, покрытый сплошь веснушками, Ульянов был светлый блондин с зачесанными назад длинными, жидкими, мягкими, немного вьющимися волосами. Помню, на лице его выделялся высокий лоб, под которым горели два карих круглых уголька». \* \*

Как сейчас помню...

Именно ему, великому тезке моего товарища, были посвящены дни и минуты нашего школьного детства. Не раз и не два, а бесконечное множество времени обсуждали мы дела и мысли этого человека, который, будучи давно уже мертв, все равно оставался живее всех живых и мертвых. Он стоял перед нашим мысленным взором всегда: маленький, с большой головой, в валенках, любящий кошек и детей, свою мать и народ, в осо-

---

\* \* \* Воспоминания товарища здесь и далее цитируются по источнику: «7 с плюсом». Газета Советского фонда милосердия и здоровья народной Академии культуры и общечеловеческих ценностей.

бенности рабочий класс, крестьянство и трудовую интеллигенцию. Он всегда оставался простым и доступным как ребенок. Но пальцы ему в рот класть было нельзя. Правда, однажды на охоте он погнался за химерой-лисицей да не убил, а, опустив ружье, задумался о тактике революционных преобразований.

Зато в другой раз собственноручно прикладом ружья убил пятьдесят штук зайцев, спасавшихся от половодья на жалком клочке суши, а впоследствии — царя-батюшку и всю его семью, чтобы дети новых поколений жили честно и долго и в один прекрасный день стали народными любимцами.

Особенно интересовались мы занятиями, па которых изучалась политическая тактика этого человека — ведь это он захотел построить для нас, детей, земной рай социализма. Что удивляло нас больше всего, так это его нечеловеческий ум. У нас на стенке даже висел плакат: «Помимо заводов, казарм, деревень, фронта, Советов, у революции была лаборатория: голова Ленина» — и была, натурально, нарисована громадная голова. Потом, правда, выяснилось, что это высказывание принадлежит перу «Иудушки Троцкого», и его пришлось снять, по тлетворное влияние незаметно уже проникло в наши сердца и души (хотя сейчас говорят, что даже у этого самого Иудушки были отдельные здравые мысли, и погиб он на самом деле абсолютно невинно — только тогда мы этого еще не знали).

Голову вождя каждый день обмахивали тряпочкой от пыли и она улыбалась нам благодарно и чуть лукаво, словно всем своим видом как товарищ поощряла к участию в общественной жизни...

«Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью. Повторяю, я все шесть лет прожил с ним в гимназии бок о бок, и я не знаю случая, когда Володя Ульянов не смог бы найти точного и исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Поистине это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью его учителей.

Как только Ульянов появлялся в классе, тотчас же его обычно окружали со всех сторон товарищи, прося то перевести, то решить задачку. Ульянов охотно помогал всем, но насколько мне тогда казалось, он

все же недолюбливал таких господ, норовивших жить и учиться за чужой труд и ум».

Мы знали о нем все! Прослеживали его действия шаг за шагом! Слышали каждый вздох! Помнили, как приехал он, рискуя своей жизнью, в plombированном вагоне в скованную осенней спячкой Россию — и тут же разогнал Учредительное собрание, чтобы отсрочить никому не нужные выборы и предоставить избирательные права детям революции, среди которых не должно было быть места нежелательному элементу. Мы просто не могли думать без смеха про всех этих эсеровских депутатов, провинциальных мещан, принесших с собою на заседание свечи и бутерброды якобы на тот случай, если большевики лишат их пищи и электричества. Вот какова была их хваленая демократия, явившаяся на бой с диктатурой, размахивая свечами и бутербродами! Всей этой юношески-наивной братии был дан отличнейший урок, наглядно показано, что большевики — не к и с е л ь, а ж е л е з о. Кое-кто из нас порой еще сомневался в правильности избранного пути. Но тут же у него в ушах раздавался знакомый голос с легкой картавинкой: «Какая же у тебя может выйти диктатура, если ты сам тютя?!» — и сомневающийся тут же начинал верить.

Он был всегда прав, как настоящий отец предостерегая нас от опасности пацифизма и обломовщины, которая всегда начинается с юношеских грез, а заканчивается самым беспардонным ничегонеделанием на диване контрреволюции.

Вслед за ним начинали мы постигать ту истину, что д о б ё р, ох, слишком уж д о б ё р русский человек — на решительные меры революционного террора его бы никогда не хватило, если бы не строжайший партийный надзор. Не говоря уже о том к о л е б н у т и и и, на которое, по его словам, всегда была готова мелкая буржуазия. Только те из нас, кто, подобно Ромулу, Рому и Герцену, оказывались вскормлены молоком дикой волчицы, могли стать героями новой жизни.

И здесь нельзя не вспомнить с одобрением, как после переезда революционного правительства из Смольного в Кремль, он стал все сильнее и тверже натягивать вожжи, добродушно поругивая москвичей, за кашу. Он каждый день ожидал, что его самого у к о к о ш а т, и все-таки мужественно продолжал свой путь, уча всех, как поскорее добиться того, чтобы у революции родился в и х р а с т ы й м л а д е н е ц — Декларация прав трудящихся.

Не было сомнения — нам всем следовало стать звеньями единой грандиозной системы зубчатых колес. И тут особенно важна была роль Советов. Так как попытка сочетать колесо партии с колесом масс напрямую, минуя среднее колесо Советов, грозила смертельной опасностью: обломать зубья партийного колеса, но не привести в движение массы, то есть, нас с вами. Поэтому, как только он получил в свои руки оба столичных Совета, то, наконец-то, и произнес хорошо известные всем слова: «Пора. Наше время пришло».

Пришло наше время — еще не родившихся детей России, на плечи которых ложилась задача построения новой жизни в ближайшие несколько месяцев. Рай на небесах, несомненно, был выдумкой попов и царей-батьшек, опиравшихся на д о б р о г о б о ж е н ь к у. Рай на земле — другое дело, он должен был опираться на каждого из нас. Если в результате насильственного Крещения в России были введены в оборот такие вредные слова, как «царь», «погром», «нагайка», то мы должны были внедрить совсем другие слова: «большевик», «Совет», «пятилетка». Он верил в торжество этих слов и своей верой заражал всех и вся...

«Начать с того, что он ни в младших, ни тем более в старших классах, никогда не принимал участия в общих детских и юношеских забавах и шалостях, держась постоянно в стороне от всего этого и будучи непрерывно занят или учебной или какой-либо письменной работой. Гуляя даже во время перемен, Ульянов никогда не покидал книжку и, будучи близорук, ходил обычно вдоль окон, весь уткнувшись в чтение.»

Небывалым апофеозом заканчивался каждый наш урок. Подобного праздника, должно быть, никогда еще не знало дело народного образования.

Намертво сцепив поднятые кверху руки, мы раскачивались из стороны в сторону, и когда наше колебательное движение достигло максимальной амплитуды, из упругих воздушных волн грянул чистый детский хор:

Запах тополиный и сиреневый  
Над Москвою майскою поплыл.  
Встретились весной дети с Лениным,  
Ленин с ними долго говорил...

Мы пели нашу любимую песню и мой товарищ пел вместе с нами,

едва ли не громче всех. Казалось, он знает о вожде, что-то такое, чего не знает никто. Его дискант взмывал в поднебесье и падал вниз, закручиваясь мертвою петлею, рискуя столкнуться с земной твердью. Но неизменно его подхватывали и поддерживали наши дружеские голоса.

Он пел не только с наслаждением, но и с умением. Здесь, конечно, сказывалась его способность сочетать изучение теории с практическими занятиями в любой области знаний, — он обладал поистине феноменальной памятью на тексты и мог без конца цитировать нам бессмертные статьи, письма, высказывания своего тезки, столь же блестяще применяя их на практике.

О, эти практические занятия! Теперь я не могу вспоминать их без слез благодарности. Если бы не они, нам было бы гораздо труднее справиться с теми трудностями, которые уже ждали нас за дверью.

Нам задавались разные головоломные задачи, которые мы совершенно самостоятельно должны были в оперативном порядке решать. Например, одно из заданий состояло в комплектовании народных советов на территории, оккупированной врагом. Глубоко внедрившись во вражеские ряды, мы обязаны были рассредоточиться и действовать с соблюдением правил строжайшей ленинской конспирации. У всех у нас имелись точные данные о социальном составе данной местности, процентное соотношение рабочих и крестьян, а также некоторой части прогрессивно настроенной интеллигенции плюс результаты последних выборов в Верховный Совет. Эти данные помогали нам привлекать к работе нужных людей и устранять ненужных, выпускать соответствующие листовки, одним словом, вести подрывную работу. Все это, разумеется, в уме.

Наши наставники умело направляли нас. Если кто-нибудь включал в состав народного совета представителя демократического фронта, то он обвинялся в недооценке роли рабочего класса и подвергался наказанию: его исключали из комсомола и автоматически из школы. Если же кто-либо забывал включить в народный совет лицо духовного звания, то его мягко журили за сектантство, но из комсомола и школы не выгоняли, а просто ставили на всеобщее обозрение, и класс прямо в лицо высказывал все, что о нем думает. То же наказание применялось и в некоторых других случаях.

Но больше всего мы с товарищами любили задание «Компартия в подполье». Тут мы получали поистине безграничный простор для самостоятельных действий. Какие только чудеса героизма мы не совершали,

чего только не делали, чтобы жила и работала наша Коммунистическая партия!

Представьте себе, что вы, член партии, получаете от ничего не подозревающего врага, в армию которого вы внедрились, приказ жечь дома и расстреливать наших женщин и детей. Что вы, как активист, предпримите в подобной ситуации? С одной стороны, ни под каким видом нельзя нарушать законы конспирации, а с другой, — убивать своих тоже нехорошо.

Все сидели в глубоком молчании, пот градом катился по крутым детским лбам, никто не мог вымолвить ни слова. И вдруг перст нашего наставника уперся прямо в сидевшего рядом с моим товарищем. Тот, сильно побелев, встал и открыл рот. При гробовом молчании класса он смог выдавить из себя, что в данной ситуации, конечно, никоим образом не может нарушить законов конспирации, а следовательно, в этом отдельно взятом случае вынужден будет пойти на такие непопулярные меры, как расстрел женщин и детей... Мальчик на секунду задержал дыхание... Но лично он все-таки не выполнит этот приказ, так как еще накануне его отдачи повесится в туалете казармы. После этого признания сосед по парте упал на пол. Что тут только началось! Школьники, несколько секунд просидев в глубоком оцепенении, вдруг повскакали на ноги и замахали руками, как будто бы перед их глазами разверзлась ужаснейшая картина: горы женских и детских трупов и в придачу еще один в туалете.

Каждый в тот момент пытался судорожно сообразить, а что бы он сделал на месте самоубийцы?

И только мой товарищ не кричал, а зачем-то посадил упавшего в обморок обратно за парту, где тот продолжал сидеть, не размыкая тяжелых век.

Это не помешало нам излить на него град справедливых обвинений. Да и что прикажете делать с тем, кто способен на такое гнусное злодеяние, как убийство советских женщин и детей, да еще на такой политически незрелый поступок, как самовольный уход из жизни, нарушающий все правила и законы конспирации. Все приняли участие в разборе. Много горьких слов прозвучало в тот день в стенах нашего класса. Кто-то даже сравнил поступок нашего бывшего товарища с поведением некоторых участников очередного, недавно провалившегося путча, но дело не в этом.

Тут-то и встал сидевший рядом с обморочным соседом мой товарищ, тоже какой-то бледноватый, и говорит, что тот, видите ли, не со-

всем четко сформулировал мотивировки своих действий. На самом деле он, конечно же, как миленький, пойдет стрелять в женщин и детей, но будет целиться им в ноги и руки, а если накануне и повесится в туалете, то предварительно оставит шифрованную записку, что повесился из отвращения к пересоленной овсяной каше, что будет содержать скрытый намек на то, что повесившийся — английский, а не советский шпион.

Это был уже цинизм! И мой товарищ в свою очередь оказался миссией для дружеской критики, будучи обвинен в оппортунистическом замазывании.

Красавица Надежда К. в порядке импровизации сообщила все, что он наговорил ей за время их тесной школьной дружбы. Ее память на цитаты определенно могла соперничать с его, и он был этим просто раздавлен. Цитаты принципиальной красавицы отличались большой точностью. Так, она припомнила высказывания о том, что все, чему нас учат в школе — это псевдонаука, дешевые перепевы чьих-то ложных истин и слов, в педагогических же построениях наших наставников без труда угадывается влияние Троцкого... и что в летописях 16 века, которые он проштудировал, когда еще учился в первом классе, отмечается, что принятие князем Владимиром Крещения Руси по греческому обряду было ни чем иным, как закамуфлированным стремлением превратить Москву в Третий Рим, а ведь именно эту цель — только уже во вселенском масштабе, сжимающем все мыслимое пространство в кольцо единой зоны под названием «СССР» — преследовал и товарищ Володя Ульянов, впоследствии Ленин. Из всего этого следует, что он был никакой не гений из гениев, открывающий своим именем новый светлейший ряд, а всего лишь Владимиром II. А вот то, что жертв на счету этого самого Владимира поболее, чем у его тезки-предшественника, так с этим вот не поспоришь. Жертвам этим не с т ь ч и с л а , н е с ч и т а я ж е н щ и н и д е т е й...

От подобной ереси мы просто онемели. Это уже был верх всего, проявление высокомерия и комчанства, не говоря о незнании правильных источников. Он не только оболгал все наше развитие, извратил светлую цель человечества — он взял, да и плюнул прямо себе в детство, а это никогда еще не возникало из ничего и не проходило бесследно, что потом и подтвердилось на примере моего товарища...

«Характера ровного и скорее веселого нрава, но до чрезвычайности скрытен и в товарищеских отношениях холоден: он ни с кем не дружил,

со всеми был на «вы», и я не помню, чтоб когда-нибудь он хоть немного позволил себе со мной быть интимно-откровенным. Его «душа» воистину была «чужая» и как таковая для всех нас, знавших его, оставалась, согласно известному изречению, всегда лишь «потемками».

На следующий день сосед по парте бесследно исчез, имя его больше не упоминалось в наших разговорах. А в дневнике моего товарища появилась свежая красная надпись: родителям указывалось на поведение сына, который в недалеком будущем обязательно укукошит человека, может быть, даже себя, кого-нибудь развратит, оболжет, одним словом, совершит ряд различных противоправных действий — так оно, кажется, и вышло (но это не моя история).

Однако в тот раз гроза миновала и дышать стало намного легче. Все мы перед лицом опасности сплотились, чтобы сообща вдыхать окружающий озон. Здоровые детские инстинкты взяли верх над теми страхами и ужасами, в которые мы едва не погрузились при виде бездны, которая поглотила одного из наших товарищей и едва не затянула другого. Не забывайте! Ведь мы были совсем еще детьми; дух наш был — «детск».

По-детски радостно горели глаза у наших наставников, хотя в волосах у них уже мелькала непрошенная седина — следствие только что пережитого. Наш классный руководитель даже признался, что у него поседело в паху.

Запах тополиный и сиреневый плыл. Ленин говорил с нами дольше обычного. А потом мы хором спели нашу любимую песню.

Бедный мой товарищ! Мне до сих пор по ночам снится, как стоит он среди поющих, открывая рот, словно рыба на мели. Конечно, он был уже не жилец в нашей дружной школьной семье, а просто-напросто политический труп. Труп!.. Вот он поднимается во весь свой нечеловеческий рост, машет распухшими конечностями в такт общему движению масс. Во рту ил да песок, в глазницах колючий репей пророс, волосы шевелятся как плакучие травы. Ужасен его вид. Ужасен! И требует отмщения. Но кто отомстит, кто?.. Прости нас, прости, мой золотой советский мальчик! Теперь я уже сама взрослая и воспитываю своего ребеночка, и я говорю: прости. Все забудется. Ты тоже вырастешь, станешь настоящим человеком, из света звезд, из драгоценной небесной синевы. Станешь, как положено — властелин мира и имя твое напишут золотыми буквами... Все забудется. Все, кроме детства. Детский сон — самый крепкий, детский обман — самый сладкий. И даже если потом в юности, зрелости, старости

тебя снова и снова обманут и предадут, это будет уже не то и не так, как в детстве. Все с нами случилось еще тогда. Так помни же свое детство, мой золотой! Хочешь, я заговорю тебе память? И ты навечно останешься там, как в мертвом сне? Вот сейчас я волью тебе в ротик материнского молочка, крепкого, как цикута. Не хочешь? Кричишь? Желаеть в их взрослый вонючий рай, где по водам, вместо перунов, сплавляют собственных златоглавых деточек? Хочешь, чтоб ступенька под твоей ноженькой обломилась, едва ты начнешь выбегать на двор; бревном Ильича по головке стукнуло; мама навсегда оставила тебя в наказание в темной комнате; в школе заставили за все, за все сердечно благодарить; беззаветно влюбиться в девочку Надежду, редкую сволочь и малолетнюю стукачку, красу и гордость ее пра-пра-пра... Хочешь, моя кровинушка? Так почему не пьешь? Зачем твой бледный покров тает и под ним обнажается зверипая шкурка, зачем ты поднимаешь заострившуюся мордочку к туманному пятну на небе, — неужели, думаешь, что мама твоя там? Она здесь, с тобой, рядом, она никогда тебя не оставит, не уедет, не предаст, кого и когда угодно, по только не тебя, не тебя...

Сон не кончается, как и жизнь. Я вижу — голова со знакомыми чертами начинает раздуваться, отделяется от тела... это уже не голова моего товарища, а того другого. Светлые кудряшки вокруг огромного недетского лба... Нежный румянец щек первой восковой спелости... Туманные раскосые оченьки... Нет в них никакой посторонней мысли, на устах ни звука — одно младенческое аукание:

А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!

О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о!

Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!

И весь наш детский хор вдруг мигом откликается:

Гы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!

И все мы дружно сцепились руками, под нарастающий гул эха шагаем ему навстречу — и Вечный Младенец принимает нас в свое маленькое светящееся лоно. Мы плачем от восторга, мы смеемся и надеемся, что наконец-то будем с Ним, будем, как Он, будем как дети, будем, будем, будем...

«Голова сама по себе не кажется большой на невысоком, но крепком, ладно сколоченном ритмичном теле. Но огромными кажутся на голове лоб и голые выпуклины черепа... Из-под могучего лобно-черепного на-

веса выступают ленинские глаза... Голова его слегка втянута в плечи, подбородком вниз, глаза скрылись под бровями, усы топорщатся почти сердито на недовольно приподнятой верхней губе. Рокот рукоплесканий растет, кидая волну на волну. Да здра... Ленин... вождь... Ильич... Вот мелькает в свете электрических ламп неповторимое человеческое темя, со всех сторон захлестываемое необузданными волнами. И когда, казалось, вихрь восторга достиг уже высшего неистовства, вдруг через рев и гул, и плеск чей-то молодой, напряженный, счастливый и страстный голос, как сирена, прорезывающий бурю: «Да здравствует Ильич!» И откуда-то из самых глубоких и трепетных глубин солидарности, любви, энтузиазма поднимается в ответ уже грозным циклоном общий безраздельный, потрясающий своды вопль-клич: Да здравствует Ленин»\*

Моего товарища звали Вова.

---

\* Л.Д.Троцкий. О Ленине.

В кн.: Л.Д.Троцкий. К истории русской революции. - М., Политическая литература, 1990, с.233.

АНДРЕЙ АНПИЛОВ

## Стихотворения



Хрупкое сердце, голубка беснечная, —  
жизнь пробежит словно кровь быстротечная  
и — ничего впереди...

Не понимаешь, чему ты противишься,  
слепо надеешься, вырваться силишься,  
крыльями бьешься в груди.

Тьма надвигается бесчеловечная,  
вот и спешить ты на первое встречное,  
недорогое тепло.

Ветер прохожий заглинет рассеянно,  
пламя задует — и нету спасения,  
время в часах истекло.

Было жилище с любовью обставлено,  
солнцем укрыто — все будет раздавлено,  
смято в земное сырье...

Жадно шевелится пропасть крошечная...  
Бей же крылами, голубка сердечная,  
ты — легковверное, ты — безугенное,  
глупое сердце мое.



Почему-то не помню плохое,  
будто зла никогда не бывает.  
Отчего мое сердце такое —  
все дурное, как сон, забывает?

Ни следа не осталось, ни шрама, —  
а ведь как уж, казалось, болело!  
Как ругала меня моя мама!  
И потом непременно жалела.

Никогда не бывало иначе —  
еще хмурятся брови для виду,  
но уже обнимает и плачет,  
и не даст меня людям в обиду.

Улыбаясь, глаза утирала...  
Горячо было с нею, светло мне...  
А что мама моя умирала —  
я прошу тебя, сердце — не помни.

## ШВЕЙНАЯ МАШИНКА

...И мама молодая на карточке семейной  
под желтым абажуром над кройкой ворожит  
за вечным разговором своей машинки швейной...  
Кругом, конца не видно — какая ночь лежит.

И бабушка живая, уже навеки вместе,  
навечно пришивает заплатку старику...  
Текут всю ночь рекою за окнами созвездья,  
и в старенькой машинке ложится нить в строку.

Их смерть поодиночке повыдернула сетью.  
А я их вновь живыми в раю вообразу —  
не то, чтобы погромы и газовые клетки,  
жужжание иголки я в памяти ношу.

Они теперь на небе жилище обживают,  
под желтым абажуром садятся нетесно.  
Наверно, по привычке соседей обшивают —  
конечно, пригодилось земное ремесло.

...Рассышались одежды, болячки отболели...  
...И косточки зарыты — ни рва, ни борозды...  
Лишь пара фотографий в альбоме уцелела,  
да швейная машинка в чулане у сестры...

## ЦФАТ

Есть город — обитель смешных чудаков,  
дом — ангелам пешим,  
рай крыш черепичных, кривых чердаков  
и синих скворешен.

Там львы человечьи живут на ветвях  
небесного сада,  
и райские птицы щебечут впотьмах  
на улицах Цфата.

Ах, слабое сердце так сладко сберечь  
податливой глиной!  
Зальется слезами еврейская речь  
за шторкой пугливой.

Ах, вот вы, родные, поднялись куда  
из ям европейских —  
нелепые шляпы — беда не беда!  
упрямые пейсы.

Не зря вышивался рисунок цветной,  
глаза голубели.  
Безоблачный месяц, как детский Святой,  
успел в колыбели.

Он, ручки раскинув, блаженно кривит  
овечью улыбку.  
И пляшут на площади, словно Давид,  
хасиды под скрипку.



В закоулках Иерусалима  
мне встречался ослик черноглазый.  
Он возил упрямую тележку,  
кротко цуря пыльные ресницы.

Шли гуськом евреи в синагогу.  
Жареным тянуло из кофейни.  
В лавочке, по шекелю за шгуку,  
раскупали крестики туристы.

Вдоль камней, изъеденных проказой,  
шляпками, зонтами укрывалась,  
кочевали галлы и германцы, —  
по от солнца не было спасенья.

И вот там — в извилинах, в протоках  
города, где молятся на рышке,  
где солдат на паперти скучает —  
мне явился ослик черноглазый.

Низкорослый, вежливый, кудлатый,  
шевели ушами простодушно,  
нес он безмятежную поклажу  
на святые лестницы и взгорбья.

И припомнил я, что смерти — нету,  
пара тысяч лет — глоток забвенья,  
шар земной — щепоть сухого праха,  
ничего пока не начиналось.

Сердце же — свободно словно небо,  
а любовь — доверчивей улыбки...  
Как хотел я ослика погладить  
и поцеловать... Но не решился.

Дул сквозняк из ямы катакомбной.  
Плавил камни жар перед кофейней.  
Ковыляла ветхая тележка.  
Бормотал погонщик по-арабски.



*Нелле Гординой*

Вечерний свет в окно струится...  
Кругом распад, опустошенье...  
Вспоминанье словно птица  
крылом обнимет в утешенье.

Как глубока тоска почная...  
Не утолить паденья муку...  
И птица плавает ручная  
по околдованному кругу.

Ах, ненадежно, ненадолго  
слагалась жизнь за потой нота.  
Но в сердце есть такая полка,  
где книги старые и фото.

Там воскресают из бумаги  
глаза любимых, улыбаясь...  
И стены, словно крыльев взмахи,  
во тьму уходят, расступаясь...

...Друзья, свидания, разлуки,  
листвы летящие качели,  
перебивающие звуки  
прибоя и виолончели,

напор осеннего ненастья,  
вся юность, город двухэтажный,  
желанье бедности и счастья,  
твой взгляд, взволнованный и влажный,

в снег перевернутые сашки,  
ночной побег, дрожанье веток,  
чужой приют на полустанке,  
вечерний свет и напоследок —

тоской раздвинутые стены,  
в дверях завеса дождевая,  
и птица в сумрак драгоценный  
летит, земли не задевая...

май 1995



Говорит, умоляет синичка:

— Не сжимай, не держи меня крепко —  
мне в руке твоей будет просторно,  
Как журавлику в северном небе.

И еще говорит она грустно:

— Ну, зачем ты меня обижаеть?  
Ты меня обнимаешь руками —  
а задумчивым сердцем не любишь.

— Я люблю тебя сердцем, синичка,  
и руками тебя обнимаю,  
Но сильнее люблю свою душу,  
как журавлика в северном небе —

оттого-то она и свободна.

Вдруг захочет — в глаза поцелует  
или спрячется за облаками,  
как родное лицо за ладошью.

Но свое повторяет синичка:

— Почему ты меня обижаеть?

Говорит:

— Вот пожалеюсь Богу,  
попрошу — пусть тебя он накажет...



Бывают поэты с музыкой громоздкой,  
как будто с комодом, застрявшим нелено  
в прихожей, усеянной звездной известкой —  
ни в бездну сорваться, ни вытолкнуть в небо.

Нальется на веко почная обида.  
Посуда грохочет и сердце разбито.

Но ты... родилась для иного удела:  
чуть легкая дрожь над стихом пролетела  
и вот уже — с облака крылышком машешь,  
где музыкой в землю небесную ляжешь...

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО

## Стихотворения

### ЭТЮД

Человек попадает, человек пропадает,  
не приходит любимая и уходят приятели,  
и часы его бьются, он носил их годами,  
и неважно на людях, онятен ли...

Человек залетает и ломается с хрустом,  
и никто не поможет, обернувшись на крик.  
Он родился и жил на равнине, на русской,  
но сгорает он в мире, созревшим внутри.

Мимо дела он ходит, мимо денег.  
Ну, такой он характер. Что ж ему, не бывать?  
И куда же природа свое детище денет,  
коль не хочет оно никого убивать?

Громыхают эпохи и зовут в президенты,  
человек хочет дома, без охранников между  
любимой и им... Неуютные дети  
смотрят на человека отстраненно,  
как прежде...

## ДВЕ ПЛОТИ

Люблю я девушку с веслом,  
она стоит под кипарисным жаром,  
и обреченная на слом  
не даст за деньги или даром.  
В ее бисквитной полуплоти  
сокрыта лень и кротость сталинстки.  
Эпоха поставила ее напротив  
моих инстинктов, самых низких.  
Я думал так, пока однажды  
под краской, треснувшей от перемен,  
не увидел порыва тяжелой жажды  
и не услышал дрожь колен.  
Я и поставил памятник громоздкий,  
имперский стиль от Рима и до Рима,  
внутри своей потаскашмой повозки  
и потащил его на звонкий рышок.  
Я вырос возле девушки с веслом,  
и грудью каменной она меня вскормила,  
и погулять пустила на запретный склон,  
не думая о том, что будет или было.  
Что я без прошлого? Особенно чужого,  
оно еще под масляною краской дышит.  
И в камень до молекулы, до атома тяжелого  
меня еще не скоро впишет...

## КЛИП

Просьшаются пляжи ободранных хиппи.  
Чайки вскрикнут и снова падут им на грудь.  
Волны Балта кричат им охрипли  
и ложатся у ног как-нибудь...

Наигралась в бомжей, предсказали бомжей,  
вас гоняли менты, тоже тренировалась,  
и теперь подступают с вокзалов,  
с растревоженных этажей —  
спались, спились, скаталась...  
Волны Балта опять не в тот адрес.  
Просыпается город, город-свалка и город-мусор,  
крысы неба парят, выбирают отбросы,  
поднимаются выше валютного курса,  
и бросаются вниз на согбенную особь.  
И джазмены опальные, мальчики шестидесятих  
разливают на улицах из саксофонов и труб  
золотого Дюка и Паркера, всех вместе взятых,  
поседевшие и спитые,  
просто так, ни за что, ни за бабки,  
ни на хмык у отравленных губ...  
Слушайте, если остановились,  
эту музыку брошенных поколений.  
Эта жизнь им давалась на вырост.  
Поврастали в асфальт — по колени.  
И глаза только в небо глядят нанскосою,  
начиная позвездю сползать и сползать,  
и ултика валторны ползает с запада на восток,  
т.е. вроде вперед, т.е. вроде назад...



Я был черным в Америке.  
Я был белым в Америке.  
Я был желтым...  
Вернулся на родину,  
не думая о цвете кожи,  
и тут же меня назвали  
черномазым,

и я подумал, что, возвращаясь, нужно  
всегда думать, куда возвращаешься  
и что тебе могут сказать вослед.  
Как-то в Италии меня приняли за  
металлиста — из-за моего рта, сверкнувшего  
металлическим зубом: "Ничего, — сказали на площади  
Навоны, — это проходит со смертью",  
и рассмеялись,  
но для них я был красный, ибо покраснел на дороге,  
где проститутка предложила пойти со мной...  
Итак, я понял, что локальный цвет замыкается  
сам на себе и чаще всего ключом от наручников.  
Только в одной стране я не услышал ничего о цвете  
моей кожи, обрадовался, но тут же услышал за  
моей спиной: "Эй, ты, узкоплечный",  
хотя я просто шел и щурил глаза  
от острого русского солнца...

*Александр Ткаченко родился в 1945 г. в Крыму, был профессиональным футболистом, играл в командах "Локомотив" (Москва), "Зенит" (Ленинград), "Таврия".*

*Выпустил несколько книг стихов. В Москве живет с 1981 года. Печатался в Америке, Италии, Венгрии.*

*Главный редактор журнала "Новая юность", Генеральный директор русского ПЕН-клуба.*

СЕРГЕЙ ЛЕЙБГАРД

## Стихотворения



В родных шпшпатах крошево и каша,  
Разбита дверь, но уцелела чаша,  
Трухлявый стул я выброшу отсель,  
Как мягкий знак с фасада — наша цель,  
Смотри наверх, звучит теперь как наша  
Цел, — в целом завершая канитель.  
Увы, я не добавлю мельтешенья  
За пограничной линией, по ту,  
Как говорится, сторону мышленья,  
Уж лучше царедворствовать в поту,  
В царапинах, как в знаках постиженья  
Своих масштабов истинных. Зато  
На серебряльной улице затор:  
Трамваи ходят реже, чем поэты  
Приличные по городу сему.  
Ты не придепшь, судя по всему,  
Я не уеду, судя по приметам.  
Но, господи, болит, как не крути  
Слова, как не выкручивай запястья,  
В ковчеге гной, заплатка на груди  
И голова гудит от сладострастья,  
От сигарет невысохших, от рук

Отбившихся в умышленном молчаньи,  
От жалости, от старости, — а вдруг  
Есть большая, чем проба на испуг,  
Бессмыслица в моем существованьи.



Играет марш шармашчик Бомарше,  
Бессонница, и кошки на душе,  
Военные гадают по псалтыри,  
От основанья августа четыре  
Часа, луна сияет, как клнше,  
Ночное небо в шрамах, как затворник, —  
Подросток лет тринадцати, щенка  
Кунивший с рук на улице во вторник  
Без родословной вместо дурака,  
Которого валяет он чуть свет,  
Последствия, как власти по закону,  
Бесчинствуют. Последние шесть лет  
Я соблюдаю моменталитет  
В моменты аллергии по знакомым —  
Знакомым в смысле знаковых систем  
Взаимопостиженья вместе с тем,  
Что постиженью вряд ли поддается:  
Упорствует, скрывается, смеется  
И остается в генах насовсем.

Спит женщина, как лодка возле шельфа.  
Абориген, отшельник или шельма —  
Я молча убегаю от проблем,  
Цветущих на экранах, как проказа,  
Похоже — возрождается лубок.  
Я скручиваю зрение в клубок,  
Освобождая родину от сглаза.



Предчувствуя припадок, собирая  
Вербальные пожитки...гнацинт,  
Негоциант, цыгане, геноцид,  
Изгнание, вторая мировая,  
Четвертая для скрипки на песке,  
Тринадцатая с миной в самоваре,  
И пересадка печени в Москве  
С автобуса на поезд до Самары,  
Наследство умещается в поске,  
Душа уходит в пятки, по суммарным  
Подсчетам жизнь не сводится к нулю,  
Дай чаю, все равно не утолю  
Ни жажды, ни наличного таланта,  
Спою над колыбелью у-лю-лю,  
Свернусь клубком на родине — и ладно,  
Бессмертие куда страшнее, чем  
Смерть, выдохну, прислушаюсь, заем,  
Осталось мне до будущего мая  
Полярная, — пожалуйста, оставь  
В покое эту музыку, — немая  
Подробная внимательная явь  
С коротким сном, поскольку явно трусим,  
Поскольку распадается объем.  
Как в поезде с тобою перекусим  
И, разъезжаясь, руки разорвем.



Какого черта, — я не вспомню черт  
Твоих, а нечто общее не в счет.  
Чернеет день, как смотрит Пиночет  
Сквозь черные очки на свой почет.

Ну то-то же, прошу, не повторись,  
Хотя бы сон да будет не избиг.  
Простое слово тоталитаризм  
Как фраза музыкальная звучит

Для слуха оплеуха неплоха.  
Когда же вся обсыпалась труха,  
Я не хочу подобия греха,  
Как не хочу подобия стиха.



И позвошь-то некому в России,  
Откалывал всю жизнь я помера.  
Ах, боже, сколько снега намела,—  
Зима лежит на собственных послках.

Я шествую с ума, с былых высот,  
Смотрю на ногти, думаю, страдаю,  
Как в телеапаратной — наблюдаю  
На всех экранах замерший восход.

Вчерашний год безумен, как тамтам.  
Я проявляю линии и лица.  
А тишина возможна только там,  
Где звук уже не может проявиться.

Ну как тут навсегда не помолчать  
С наивными убийцами монми?  
И даже ты не помнишь, что сказать,  
Теряешься, сливаешься с другими.



На стене тараканы застыли,  
Как арбузные семечки, пыли  
Многовато, и спит в леднице  
Клара Цеткин и муха цеце.

Укрываясь от света и свары,  
Я свернусь, как бездомный в трубе,  
Подтянусь на ключицах к себе  
Самому, подышу перегаром,  
Задыхаясь от пресной золы.

Почерневшие вовремя мысли  
Помрачнели, притихли, заклели,  
Виновато забились в углы.  
Выходите, пока я живой,  
Поиграйте, не бойтесь, со мной,  
Побеситесь, никто не наказан.  
Может быть, я незрядно смешон,  
Но зато я поступков лишен,  
И любить никого не обязан.

*Сергей Лейбгард родился в 1962 году в Куйбышеве. Стихи публиковались в российских и зарубежных альманахах. Участник фестиваля русской поэзии в ФРГ (Аугсбург, 1990). Автор четырех поэтических сборников. Живет и работает в Самаре.*

АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВ

## Три рассказа

### Ты его больше никогда не увидишь

Ветеран перманентных локальных конфликтов покупает за шесть тысяч четыреста летние туфли, низ черный, л и т о й, рельефный, в е р х джинсовый, синий, носки задраны.

Он стоит среди цветущих и уже отцветающих садов Больших, Малых, Средних, Верхних и Нижних проездов, слышит долетающие из оврага трели соловья и силится вспомнить что-нибудь про любовь, но мысли его привычно съезжают на железную дорогу, где прошли его молодые годы в качестве сцепщика.

Его окружают подростки, и он прикидывается глухонемым, что, может быть, и спасает его.

Он приходит домой и задумчиво пьет из трехсотграммовой баночки натуральный башкирский высокогорный мед петушинского производства из полтавского сахара.

Это его личный мед. Он еще надеется восстановиться, возродиться с помощью меда.

Скоро из Америки на побывку приедет Анжела, и они соберутся всей бывшей группой местного андеграунда, и ветеран выпьет и будет лихо отплясывать буги-вуги.

Хлопает дверь, и он лихорадочно прячет липкую баночку в карман и делает вид, что читает Миллера и слушает Малера.

Это теща. Она презрительно смотрит на ветерана и заявляет, что ей давно хочется плюнуть на его все регалии, ради которых он погубил свою семью.

”Пожалуйста”, — говорит ветеран и подсовывает ей почетный диплом ветерана перманентных локальных конфликтов.

Она плюет и уходит, и ветеран остается один, и его постное лицо уныло отражается в пластиковой бутылке из-под растительного масла.

Ему горько, и мед не помогает.

Куда-то исчез Виталий с бумажными мешками под цемент для закладки фундамента.

Ветеран хочет выстроить коттедж из осоки и грязи. Там будет камин, и он в октябре будет сидеть у пылающего камина и потягивать сапери.

А сейчас он читает спецлитературу по строительству домов. Ходит по улицам, смотрит, как другие строят.

С тяжелым рюкзаком и биноклем ночного видения входит Миша. Он предлагает ветерану сейчас же быстро собраться и отправиться в путешествие на Тибет по следам Николая Рериха. Он открывает новую чистую контурную карту и быстро набрасывает маршрут. Потом он вспоминает, что не дописал репортаж о конфликте по поводу акционирования между коллективом прядильной фабрики и ее директором, и исчезает, и ветеран снова один.

Он рассматривает свои новые летние туфли и хочет услышать их запах, но ничего не слышит.

Он выдвигает ящик письменного стола и достает кусочек гипюровой ткани и хочет вспомнить Тамару, но ничего вспомнить не может.

Он добывает остатки меда и открывает новую баночку.

Ветеран из Москвы звонит ему с предложением организовать во Владимире региональную партию ветеранов перманентных локальных конфликтов и возглавить ее с целью действительного возрождения России.

— Нужно подумать, — отвечает ветеран.

Ночь проходит в мучительных размышлениях.

Утром он падает на пол, и мед из баночки вытекает на пол.

Его уже нет, Анжела.

Ты его больше никогда не увидишь.

## Никуда не ходить

Вид он имел сонный, болезненный. Он был в черном свитере. Я подал ему письмо. Он сел на диван и стал читать. Он был в очках.

Я сидел спиной к окну, за которым гудел морозный мартовский ветер и ярко горело солнце.

В комнате было пыльно и душно. Форточка была закрыта. Из ребер отопительной батареи торчали дырявые носки и стельки.

Читал он долго, перечитывал.

У меня с собой была бутылка пива. Я предложил ему. Он принес два стакана. Он сказал, что они хрустальные. На дне моего стакана засох какой-то осадок.

На столе, у которого я сидел, среди груды пыльных книг и старых журналов стояло что-то пластмассовое, желто-грязное.

Он сказал, что это ингалятор, что он ингалируется эвкалиптом.

На стене был пришпилен акварельный рисунок с изображением летнего моря. Он сказал, что это подлинник. Он стал рассказывать об авторе этого рисунка таким тоном, словно передо мной была выдающаяся работа выдающегося мастера, а не жалкая поделка.

Я напомнил ему, что жду ответа на мое письмо.

Он снова стал изучать его. Это уже начинало раздражать меня. Мне еще нужно было зайти к Пучкову.

Я сказал ему об этом.

— Да, сейчас, сейчас скажу, — ответил он, не отрывая головы от моего письма, состоявшего из нескольких простых, конкретных пунктов.

— Значит, ты не согласен с позицией редколлегии? — сказал, наконец, он.

— Да, — ответил я.

— Ты считаешь, что их позиция ведет в тупик?

— Да, считаю.

— Почему?

— Но я ведь изложил!

— Верно, изложил. Но давай попробуем посмотреть с другой стороны.

— Давай попробуем.

— Давай представим себе, допустим, лес. Это зимний лес. Никого нет. Тишина. Зимнее солнце освещает лес, снег, следы на снегу, замерзшую реку, поля, холмы, овраги. По дальней дороге, подпрыгивая, бежит трактор "Беларусь" с прицепом, а в прицепе — солома. Она темная, прошлогодняя. На дереве сидит дятел. Это сухое дерево. Дятел долбит его. Он похож на карамель "раковая шейка", на матроса на мачте, на яркий галстук на длинной шее стилиста конца пятидесятых годов. И вот ты стоишь под этим деревом и смотришь на дятла...

Я ничего не понял из его монолога. Я понял, что он просто-напросто фиглярничает.

Сейчас здесь не осталось никого, к кому можно пойти. И я не хожу.

## Голос

Вчера был день СА. Нет, как-то иначе он сейчас называется.

Я тоже когда-то служил. Сначала третьим номером расчета на дышле и блоках, потом вторым на пульте управления, где было две кнопки и колесо.

Вчера на работе мне подарили бутылку бренди и коробку конфет.

Костя на больничном, и я оказался один среди женщин. Мы выпили бренди и разошлись по домам.

По дороге домой я купил в киоске два тюбика зубной пасты производства АО "Свобода", Москва.

Много сил и времени было когда-то потрачено на то, чтобы жить поближе к Москве, и вот она совсем почти рядом, а чувств никаких.

В чем же тут дело? Москва ли тут изменилась в худшую сторону? Или ты? Или все вместе? Я уже сказал, что пасту я купил в киоске.

А теперь я скажу о киосках, особенно о железных, когда в образе мелькнет лишь рука, локон, бедро. Молча выставляется пачка сигарет, молча уходишь и думаешь...

О чем же ты думаешь? Продавец, — думаешь, — есть не только посредник между товаром и покупателем, но еще и нечто такое... Мысль мне дается с трудом.

Может, именно по этой причине я избегаю общаться с умными людьми.

Например, с Костей, который сейчас на больничном и которого я все собираюсь навестить, да все как-то откладываю. Умный он человек, много знает, тяжело мне с ним, да и ему, кажется, в тягость мое мычание.

Хотел бы я не мычать? Хотел бы, да поздно уже. Поздно, Вадим, поздно, Павел.

Но вернемся к киоскам. Что-то о них собирался сказать я, что-то про амбразуру, в которой мелькнет лишь локон, рука, бедро... Не знаю, не могу сформулировать.

Когда-то, на заре трудовой деятельности, будучи газоспасателем, был направлен я на хобот подстраховать от удушения газами слесаря, которому необходимо было зачеканить избыточный клапан, и вот...

И что?

Ничего. Зачем вспоминать о том, что удушает жизнь, уродует, пожирает...

В данный момент над зданием военной комендатуры общая шинельность неба вдруг открылась в виде окошка тонкой бирюзы, что можно сравнить с тем положением, когда тряпочкой, смоченной в асидоле, протираешь в одиночестве в бытовой комнате закисление латунной пуговицы. И как будто голос какой-то из этого окошка неба. Да нет, это голос конвоира, выводящего проштрафившихся солдат на уборку территории.

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ

# Кронштейн

Рассказ

Владька Хейфиц уехал в Америку, подумать только!

Сколько лет прошло? Тридцать? Он жил во втором этаже и оттуда на весь двор, усугубляя тоску, вызванную зноем и отрочеством, медленно и безжалостно выплывали звуки подготовительной гаммы, разучиваемой на скрипке, купленной Владуку в местном универмаге за сорок четыре рубля. Как-то я поразил родителей, открыв им как большую тайну, что владькина скрипка — старинная, сделанная знаменитым мастером, фамилию которого я не запомнил: родители помогли, я подтвердил, именно эту фамилию прочитал я выжженную на маленькой фанерной бирочке внутри корпуса скрипки. Помнится, Владька настойчиво совал мне в нос отверстие, за которым скрывалась табличка и был разочарован тем, что фамилия мастера мне ничего не сказала.

Сейчас Владька, подверженный ежедневной муке, садистически выводил, ближе став к окну: та-пи-па-ни-та-ти-та-ти! И — назад — ти-та-ти-та-пи-па-пи-та. Я знал, что он стоит в длинных, как все мы летом носили, застиранных сатиновых трусах, босиком, полузакрыв один глаз и вперив другой, косящий, в потолок, где висела люстра — самая роскошная, по моим понятиям, вещь на свете. С трех бронзовых рогов свисали на золоченых цепочках розовые фонари, сделанные в форме неких фантастических цветов, с изогнутыми краями, светящимися белым крапчатым

узором. Когда включали эту люстру, — а это бывало обычно по тем вечерам, когда к Хейфицам приходили гости играть в карты, в их плюшево-тесную комнату спускался нереальный уют. Впрочем, сидеть в комнате со взрослыми, выпивающими, закусывающими, играющими в "рамс" или еврейскую игру "шестьдесят шесть", доводилось, естественно, редко — нас выгоняли.

Я во многом завидовал Владьке: и тому, что он старше на три года, и у него больше размер обуви, и тому, что старший брат его, Женька, в отличие от Стасика, моего старшего брата, богат. Богатство его проявлялось и в иностранной одежде, которой в те поры не было ни у кого, и в автомобилях, которые менял он со сказочной быстротой. И тому я завидовал, главным образом, что дом Хейфицей (или Хейфицев?) был шумным, гостевым, выпивающим — полная противоположность дому нашему, где лежала больная бабушка, где гости случались редко, и переносились с трудом, ибо отец не выпивал, тогда как дядя Миша каждый день бегущий из поликлиники домой с балетным чемоданчиком к "Леличке", которую он обожал, был уже маленько под ветерком. Выпивали они и вдвоем с Лелечкой, Ольгой Ивановной, нежной, хрупкой блондинкой немецкого типа, с завитыми золотыми кудрями. Однажды родители мои, желая поддержать добрососедские отношения, пригласили Хейфицей в гости. Нас с Владькой выжили в маленькую комнату, откуда я подглядывал и восторженно сообщал Владьке: "Дядя Миша на колени перед моей мамой встал! А сейчас, смотри, смотри, рюмку в зубы взял, без рук пьет! Смотри!" Владька не разделял моих восторгов, — ему было лет 12, и он уже стыдился родителей. Он злобно оттаскивал меня от дверей и мы подрались.

Собственно, Владька носил фамилию Гладков и одно время усиленно подчеркивал это, явно стыдясь своего еврейства. Лишь перейдя уже за 30, он обнаружил приверженность к своей нации. Но это было уже после того, как Женька уехал в Израиль.

Гладковой была Ольга Ивановна. Меня она тоже многим поражала, летом только в белье и ходила дома — мою мать представить в таком виде было невозможно. Они с Владькой разговаривали на такие темы, что было и страшно и сладко слушать.

А когда Женька с Владькой — Женька на пианино, Владька на скрипке — вдруг вдаривали: "Истамбуле, и Константинополе!.."

Причем Женька, не учившийся музыке, но очень музыкальный,

бухал в клавиши, как в барабан, отбивая ритм по полу волосатой ногой, а Владька, худой, с огромным носом, вытянувшись, дергал смычком по своему жуткому инструменту, и оба в длинных сатиновых трусах!

Женька заступался за Владьку, выбегая во двор, в чем был, чаще всего в тех же трусах и в носках на резиновых подвязках, охватывающих икры, про которые теперь мы все забыли, а еще не так давно их все же и носили. Но он и Владьке мог дать по морде. Кстати, надо оговориться, что, употребляя тогдашнее дворовое — Женька, я следую правде жизни, а Евгению Михайловичу Хейфицу меж тем тогда было лет 25, он был намного старше Владьки и даже моего старшего брата. Я его называл Женя.

Он вскоре уехал в Москву, где прошел какой-то малоизвестный мне, но вполне фантастический путь: так, например, одно время он почему-то носил двойную, по первой жене, фамилию Хейфиц-Бутылкин, служил в каких-то местах, стремясь к приобретению зуботехнического или же зубоврачебного, не знаю точно, диплома. В конце концов он получил вожделенный диплом, зажил богатым домом под Москвой на станции Никольская, где я был у него один лишь раз, исполняя поручение моего старшего брата. Поручений этих я, надо сказать, очень не любил, и брат прибегал к моей помощи крайне редко, куда чаще используя Владьку и некоторых моих друзей, имевших больше то ли смелости, то ли вкуса к противозаконным операциям, то ли просто менее чувствительных, чем я. Да, к сожалению, в юные годы, и, пожалуй, вплоть до инфаркта, я отличался nepозволительной чувствительностью, которая помешала сделаться мне тем, кем я хотел. Об этом — где-нибудь в своем месте.

Дело было зимою, я впервые был в подмосковном дачном поселке, был очарован и светской любезностью жениной тещи, и его развязным радушием. Я отдал коробочку, не зная, что в пей, но Женя тут же под лампой развязал пакет, и оказалось, что там золото и еще какие-то металлы. Он повеселел и предложил выпить. Мы выпили (это была первая или вторая моя самостоятельная поездка в Москву — или десятый класс, или первый курс) в огромной холодной комнате с широкими окнами, в ней лежала медвежья шкура и стоял огромный музыкальный "комбайн", на котором пластинки сами собою ставились на диск, и он предложил мне его послушать, сообщив мимоходом (он всегда был хвастуном), что эту штуку ему прямо из ФРГ на дачу привезли, и в доказательство, вскоре провожая меня, показал в сених на какой-то огромный картонный ящик.

А так я видел его в основном в нашем старом дворе, откуда и я к тому времени уехал. Он приезжал обычно летом, каждый раз на другом автомобиле, необыкновенно одетый, развязно-любезный, и вслух говорящий то, что не принято было говорить: о женщинах, отношении к евреям, правительстве и, наконец, о невозможности жить в этой стране.

В конце концов он уехал в Израиль, по-моему, одним из первых, во всяком случае, оказался героем нашей пропаганды: корреспондент "Литературной газеты" брал у него интервью в Вене в лагере для иммигрантов.

Однако, тем временем, пока я в редкие минуты отдыха сочиняю неизвестно зачем свои анекдоты из прошлой жизни города С., жизнь идет себе, и вот уже Владька давно вернулся из Америки, и я не виделся с ним до тех пор, пока не произошло другое событие: тихо умерла, не болев ни дня, в возрасте 87 лет Ольга Ивановна, и я пришел отдать последний долг. Ольга Ивановна лежала, как и жила, как-то воздушно, едва ли не легкомысленно и никак для других необременительно: Владька и его жена не видели ее смерти, она как бы явилась наутро в новом качестве, предлагая сделать, что положено, а она уже сделала всё, что могла. Сейчас, прожив 42 года, смело могу утверждать, что более легкого в общении человека, чем Ольга Ивановна Гладкова, я не встречал. Лет 20, нет 25, назад, после смерти мужа, она завела себе участок на окраине города, и там проводила большую часть дней, превратив пустырь в цветущий уголок, и ко всему прочему выделявая там собственное вино, которое ежедневно попивала и которым Владька, случалось, угощал нас.

Ну, и наконец, на днях я встретился с Женей, который прибыл в родной город из Москвы — Нью-Йорка, и оказался совсем не тем Женей, которым был здесь.

Я имею в виду вовсе не постарение. Я помнил шумного, хвастливого человека, как бы припрыгивающего на ходу, пьяницу и бабника, точнее, даже похабника, матерщинника и барахольщика. Теперь на владькиной кухне, где когда-то стояло зубоврачебное кресло его отца, передо мною сидел молчаливый, обдуманно и очень понятно, четко выговаривающий свои мысли одутловатый человек без возраста, стриженный в скобку, седой, как бы отрешенный. (Это Женя-то отрешенный — ха! от чего?!)

Он сказал, что Америка большая, очень богатая и добрая страна, но что у нашей бедности не меньше привлекательного.

Он хочет вернуться, подал бумаги в посольство. Хочет купить дом под Москвой, чуть подальше Никольского, работать по зубопротезированию, и — я сразу даже не воспринял — заниматься этой работой благотворительно: "Это моя страна, и я должен ее людям, а не власти. В Америке я нашел Бога. И умереть я хочу в своей стране".

Он крестился в Штатах, сделался православным, верующим, активным прихожанином.

Мы недолго с ним говорили. Он был сдержан, и быть в роли интервьюера мне не хотелось.

"Скоро надеюсь приехать", — сказал он на прощанье.

Женя Хейфиц был человеком, смолоду стремившимся к богатству, достижению целей, у нас просто немислимых, ну, условно говоря, идеал трофейных фильмов — белые телефоны, белые автомобили, это в юности, а затем, в Москве, добыча всего импортного, и рефрен почти шалпинский: в этой стране жить нельзя; жесткая целеустремленность сперва на материальное благополучие здесь, затем на выезд, и там, насколько я знаю, сначала на выживание, затем на приличное место. И вот православный сврсей рассказывает, как здесь хорошо, хотя здесь столь же несомненная бедность, сколь там несомненное богатство.

Но мы же все, от президента до рядового, все лишь мечтаем, покарятываем, да прицеливаемся — как бы хоть наподобие штатского благополучия повернуть! Всё, что делается сейчас в стране, вокруг этого — туда идти или не туда, и если туда, то как поскорее, чтобы на нашем поколении испытать хоть бы безочередье, возможность заработать, путешествовать, построить дом для детей и т.д. — всё то, что там с незапамятных времен имеется, как солнце всходит и заходит.

Так, значит, правы те, кто настаивает на своем собственном, исключительном, в корне отличном от западного, пути страны?

Страшно стало представить, как далеко они ушли от нас во всем, чему мы завидуем и что собираемся догонять, но с в о и м и средствами, то есть шаг вперед два — назад, или три вбок.

Но тогда уж честнее перед самими собою, стариками и детьми нашими, оставить как есть, и тогда, — эськюз ми! Прав был усатый вождь и именно он.

Ах, пропадающая страна!

Иль народ пропащий, собравший вокруг себя десятки народов и пространств, и потянувший за собою на дно трагического эксперимента?

Я ведь вполне созревший был до этой встречи западник, или как там хотите назовите. Надоело: патриотизм, гордость славой, я, юный пионер Советского Союза, вонь сортиров, убожество жилища, распертый от вонючей суррогатной колбасы кишечник, идеологическая обязаловка, страх, болезненное сочетание исторического главенства и приниженности и т.д. и т.д. Хватит!

И тут Евгений Михайлович Хейфиц, транзитом через Москву, прибывает из Нью-Йорка рейсом компании Панамерикан, чтобы я увидел н а е в ш е г о с я человека, не ставшего счастливым?!

Ладно, есть оговорочка: он стремится на Родину в свои 62 года, а не потому, что здесь иная жизнь. А возможна ли отдельно взятая материально благополучная, упорядоченная жизнь у нас, словно бы ее можно переносить из страны в страну? К ней о н и шли веками.

И от этой невозможности придти к тому, к чему двинулись, становится паскуднее, чем от отсутствия пива, зеленых мух с помойки за окном, невозможности выскочить из двухсотрублевого дохода, развалившегося дивана — всё-всё это, привычное уж, черт с ним! Всё-всё не так страшно, как некий горизонт, в о о б р а ж а е м а я л и н и я.

Новый вариант светлого будущего?

Я закончил эту огорчительную писанину, заглянул в начало и вспомнил, что никак не подтвердил названия ее. А дело в том, что при известии, что друг детства Владик Хейфиц-Гладков отбыл за Атлантику, я вспомнил с ним связанный казус.

Он всегда любил вертеться около взрослых. Любить-то все любят, но я, например, был застенчив и издали, или, во всяком случае, молча, наблюдал такие завлекательные дворовые события и сцены, как игру в "петушка", установку летнего душа, починку очередного автомобиля Жени или мотоцикла моего брата. Владька же, особенно в последних случаях, прямо-таки вмыливался в верчение полуголых, пахнущих табаком, потом и масляным железом молодых мужиков, заговаривая с ними, и, конечно же, подавая инструменты.

Так вот женькины ноги, торчащие из-под "опель-спорта", сказали глухо стаськиным ногам в промасленных сандалетах, которые прыгали на покрышке колеса, отрывая ее от обода:

— Кронштейн не видел?

— Кронштейн! — встрепенулся Владька, — Кронштейн, — какая знакомая фамилия!

Это не анекдот, я сам был этому свидетелем, и мне не показалась смешной владькина оплошность, и я бы ее забыл, если бы в течение многих лет, редкая встреча брата и Жени в присутствии Владика обходилась без слов: "Кронштейн — Кронштейн, какая знакомая фамилия!"

*г. Саратов*

*Сергей Григорьевич Боровиков — известный критик, литературовед, эссеист, автор статей и книг о современной русской литературе.*

*Живет в Саратове. Издает журнал "Волга", один из лучших современных литературных журналов.*

ЮРИЙ КУДЛАЧ

# Туалет

Рассказ

Все это происходило в одном маленьком грузинском городке. Попал туда Жора совершенно случайно. Думал, что ненадолго, а остался там на много лет. Городок был уютный, зеленый и какой-то весь домашний. Почти все жители знали друг друга по именам, а порою и по прозвищам. На удивление быстро прижился Жора на новом месте, а вскоре и он был награжден прозвищем. Случилось это вот как.

Поначалу Жора ни слова не понимал по-грузински, но постепенно из общего звукового потока он стал вычленять отдельные слова. И когда узнавал их, радовался, как ребенок и вскрикивал: "Я понял, я понял!". Однажды один из соседей не расслышал, что именно восклицает Жора, и подумал, что он говорит: "Япония, Япония!". Так и закрепилось за Жорой прозвище "Япония". А так как слово это по звучанию чем-то напоминало мегрельскую фамилию — Жвания, Чкония, Мебония, то все стали звать пришельца Жора Япония.

Был Жора молод и уверен, как написал один поэт, "что мир Аллахом создан для него". Ему, как, впрочем, и всем нам в юности, казалось, что все вокруг незыблемо и вечно, а сам он бессмертен.

И были у Жоры Японии три друга — Валера Эристави, Ираклий Цхомелидзе и Реваз Мгалоблишвили. Познакомился Жора вначале с Ираклием. И вот при каких обстоятельствах. Шел как-то Жора по улице, никого не трогал, а одному грузину чем-то не понравилась жорина русская физиономия (раньше такое случалось. Не часто, но бывало). Грузин,

недолго думая, обругал Жору матерно, при этом улыбался, будучи уверенным, что тот по-грузински не понимает. Да и ошибся. Жора не только прекрасно понял, но в ответ ознакомил грузина с такими выражениями, от которых у того волосы дыбом встали. совершенно очарованный жоринскими глубокими познаниями в этой области, Иракий Цхомелидзе (а это был именно он) тут же принес свои искренние извинения и добавил порусски фразу, которая в свою очередь привела в изумление Жору: "Пошли в Туалет — я угощаю!" Но дело тут же разъяснилось. Оказалось, что в городке возле вокзала когда-то строили общественный туалет. По каким-то неведомым причинам строительство не было доведено до конца. Здание было законсервировано и постепенно пришло в полный упадок. Но нашелся предприимчивый человек, сунул, кому надо, здание отремонтировал и открыл там небольшую забегаловку. Готовил хозяин сам, а так как повар он был совершенно замечательный, то забегаловка эта быстро обрела постоянных посетителей, которые между собой ее так и называли — Туалет.

Вот с этого Туалета и началась дружба Жоры Японии и Иракия Цхомелидзе. Вскоре к ним присоединились еще два друга Иракия — Реваз и Валера. Каждый день шли они вчетвером в Туалет и наслаждались вкуснейшей едой и чудесным кахетинским вином. Они хлопали друг друга по плечам, клялись в вечной дружбе и свято верили, что дружба может быть вечной, а они сами — неизменными и бессмертными.

У каждого из них был свой "конек", и стоило на этого конька взобраться, как начинались иронические замечания, споры, возражения, порою дело доходило даже до легкой драки, что, впрочем, делало их дружбу еще крепче.

Валера Эристави, например, любил вино и женщин. Он мог часами рассказывать о своих увлечениях и все время находился в состоянии влюбленности в кого-нибудь. Если же он не говорил о женщинах, то говорил о вине. И тогда друзья замолкали, потому что Валера мог говорить о вине, как о живом существе. Он употреблял глаголы, которые применимы только к людям: вино в его рассказах волновалось, раздражалось, любило, наслаждалось, страдало и ненавидело. Он рассказывал об особенностях лозы, выросшей на западном склоне виноградника, в отличие от лозы южной. Он находил удивительно точные, и в то же время поэтические выражения для описания букета разных, но одинаково любимых вин. От него Жора узнал, что бывают вина не только белые и красные, но и

черные, и даже зеленые. Все мужское население Грузии можно было условно разделить на две группы: имеющие машину и мечтающие ее иметь. И то сказать — какой джигит без коня?! Как говорил один мой знакомый: "Ми сначала научились водить, а потом — ходить". Валера Эристави входил во вторую группу. Автомобиль был его третьей излюбленной темой, причем в разговорах он как-то ловко увязывал ее с первыми двумя. Он мечтал о "Жигулях", и мечта его неожиданно сбылась. Но о том, как это произошло, я расскажу немного позже.

Валера всегда был весел, беззаботен, дружелюбен и остроумен. Он был душой, двигателем и стержнем компании.

Иное дело — Ираклий. Он был патриот. Можно и даже нужно любить свою родину, но Ираклий делал это как-то особенно торжественно и мрачно. Он искренно полагал, что Грузия — центр мироздания, и все, что есть на Земле стоящее, сделано грузинами. Он готов был защищать свою точку зрения до эшафота включительно. Россию же и все русское презирал и ненавидел. Для Жоры делалось исключение, потому что Жора был друг, а дружба — превыше всего.

— О какой русской культуре можно говорить, — кривя губы, как-то сказал он, — если даже ваш главный царь был грузин.

— Какой это у нас царь был грузин? — изумился Жора.

— Петр Первый, — без тени сомнения заявил Ираклий.

— Да с чего ты это взял?

— Посмотри на его усы. Типично грузинские! И вообще! Все ваши так называемые великие люди были не русские: Пушкин — эфиоп, Лермонтов — шотландец, Толстой — француз (зовут Лео, да и половина "Войны и мира" по-французски написана), Бородин — грузин, внебрачный сын какого-то грузинского князя, Чайковский, Мусоргский и Достоевский либо поляки, либо евреи (только у поляков и евреев фамилии заканчиваются на "-ский"), Глинка — чех (ты что, не знаешь, что в сборной Чехословакии по хоккею тоже есть Глинка?), Чехов — уж точно чех (фамилия сама за себя говорит!). Да и русского языка не существует в природе...

Тут Жора, ошалеv от подобной логики, с криком "А на каком же языке ты, скотина, со мной разговариваешь?!" врезал Ираклию в ухо. Ираклий тут же возвратил долг с процентами. Завязалась свинская драка. Друзья растащили их по углам, а через полчаса все четверо хохотали, вспоминая подробности. Никто серьезного значения подобным эксцессам не придавал — их дружба была непоколебима.

Самым старшим и уравновешенным в их компании был Реваз Мгаблншвили. Его жена Кэтино, в отличие от многих других жен, любила беспутных холостых друзей своего мужа, и они платили ей взаимностью. Все интересы Реваза были сосредоточены на его семье, что, правда, не мешало ему проводить массу времени в Туалете. Друзья принимали самое горячее участие во всех семейных радостях и горестях Реваза — их дорогого Резо. Все трое восхищались вместе с ним первым зубом маленькой Лии, негодовали по поводу первого матерного слова, произнесенного четырехлетним Тамазом, переживали из-за первой двойки школьницы Тамрико. Они провозглашали тосты за каждого из трех детей в отдельности, желая им счастья и здоровья, потом поднимали бокалы за всех троих, а потом вновь пили за каждого поодиночке. За Кэтино они тоже пили, желая друг другу такой же преданной, понимающей жены. Резо приносил с собой в их компанию покой и чувство домашнего уюта.

Жора очень быстро усвоил процедуру грузинского застолья, главным достоинством которого была доброжелательность. Последовательность тостов была жестко регламентирована, хотя тосты разделялись на обязательные и произвольные. К обязательным относились тосты за родителей, за ушедших безвременно родных и близких, за детей и, конечно, за Грузию-Сакартвело, которую все живущие там нежно и искренно любили. Затем провозглашались тосты за каждого сидящего за столом, причем для каждого находилось какое-то особое, теплое слово. Сказать резкость или тем более — обидеть кого-то из присутствующих было просто невысказано. Как-то раз не выказали должного уважения одной молодой даме (сущий пустяк: не наполнили вовремя бокал или что-то в этом роде). Она была русская, но выросла в Грузии и хорошо знала обычаи. "Как?! — закричала она, обливаясь горячими слезами, — не может быть! Меня обидели мужчины! И где! На грузинской супре\*!"

А порою, когда угасал энтузиазм и смолкал "веселия глас", вставал тамада и говорил:

— Дорогие тосты продолжаются!

И веселье вспыхивало с новой силой и яркостью.

Жора Япония по натуре был бродяга. За свои двадцать пять лет он успел объездить весь Советский Союз и пожить во многих городах. Во

\* — супра — скатерть (*груз*)

всех концах страны у него были знакомые и приятели. Он много видел и много помнил. Он очаровывал своих друзей яркими рассказами о событиях, происходивших с ним самим или с кем-то из его многочисленных знакомцев. Он прекрасно играл на гитаре и знал бесконечное множество песен. Как-то он принес в Туалет гитару и потряс публику, спев несколько песен на грузинском с прекрасным произношением. Тогда подошел к нему старый грузин и со слезами на глазах сказал:

— Синок, шени чир мэ\*\*, за эти чудесные слова я готов жизнь отдать. Диди мадлоба\*\*\*!

С этого момента Жора стал самым популярным человеком в Туалете.

— Япония! — кричали ему, — сыграй Ципинатэлу!

— Жора! Япония! Спой "Чито, грито, чито маргелито"!

А его друзья гордились им и как должное принимали восторги публики и бутылки вина, которые по грузинскому обычаю присылались на их стол изо всех углов.

Засиживались в Туалете далеко за полночь и только когда смертельно уставший хозяин намекал, что пора и ему отдохнуть, угощали его полным стаканом вина и по старинной традиции произносили последний тост — "за временное окончание нашего стола!". А потом еще долго гуляли по ночном у городу, провожая друг друга и не желая расставаться.

Однажды Валера совершенно неожиданно исчез из города. Друзья заходили к нему поочередно, но квартира была заперта. На телефонные звонки никто не отзывался.

Резо предложил обратиться в уголовный розыск, где у него есть знакомый майор. Горячий Иракий предположил, что Валеру убили враги. Какие-такие враги, он пояснить не мог, но привесил к поясу огромный охотничий нож и заявил, что, если с валериной головы упадет хотя бы один волосок, то он безо всякой милиции найдет негодяя и зарежет его как овцу. Много неприятностей он обещал и родственникам этого сукиного сына, а также его друзьям, родственникам его друзей и друзьям его родственников. Оптимистически настроенный Жора высказал уверенность,

---

\*\* — шени чир мэ — идиоматическое выражение, означающее высшую степень расположения. Буквально — "Твои горести мне" (груз)

\*\*\* — диди мадлоба — большое спасибо (груз)

что Валера наверняка переживает новый роман и токует где-то с очередной своей пассией.

Валера объявился через десять дней и, безумно блестя глазами, рассказал поразительную историю.

Рассказ Валеры Эристави.

Ровно десять дней тому назад прихожу я вечером домой, а в дверях — записка. В записке — номер телефона. Тбилисский. А кроме него, такие слова: "Приехал твой дядя из Бразилии. Если хочешь его видеть, позвони." Поначалу я просто обалдел: какой дядя? Из какой Бразилии?! Потом слегка остыл и вспомнил, что когда-то, когда я еще маленький был, мой покойный отец говорил, что его старший брат в незапамятные времена уехал в Бразилию. Я-то, конечно, об этом и думать забыл. Понимаете, в семье моего отца было восемь детей. Отец был самый младший, а вот этот самый дядя Бадри самым старшим был. И разница между ними была ровно двадцать лет. Тут и я сообразил, что по времени все сходится и бросился звонить. Дядя мой, оказывается грузинский еще не забыл, только говорит со странным акцентом. Ну, поговорили мы с ним, и я тут же ночным поездом уехал в Тбилиси. Потому вас даже и предупредить не успел. Дядя в гостинице "Иверия" остановился. Я таких шикарных номеров в жизни не видел и даже не знал, что такие в природе существуют. Дядя Бадри оказался совсем на папу не похожим. Отец мой был здоровенный мужчина. Все думали, что он гантелями балуется, а он, по его же словам, никогда ничего тяжелее собственного хера в руках не держал. Просто природа была такая богатырская. Я, к сожалению, не в него. Как глянул я на дядю Бадри, так сразу и понял, в кого. Ну, прямо я в старости. Причем в глубокой — дяде уже, как выяснилось, восемьдесят четвертый пошел. Ну, пообнимались мы с ним, стал он папу моего вспоминать, какой он маленький был, да семью всю нашу, то да се. Потом и говорит: приехал я, мол, с родиной перед смертью попрощаться. В мои годы надежды нет, что еще раз приеду. А ты, Валерка, единственный мой родной здесь человек. Пойдем, говорит, покажи мне наш Тбилиси. Закажи такси — пусть нас завтра весь день по городу возит. Я ему: "Дядя, так ведь это дорого — такси на весь день заказывать, уж лучше мы пешочком". А он: "Сил у меня нет пешочком. Зато деньги есть: у меня в Бразилии четыре кофейные плантации". Весь следующий день катались мы с ним по Тбилиси — он родные места узнавал и все плакал. Вечером поднялись мы на фуникулере на Мтацминду, стоим там наверху и на вечерний город

смотрим. Красотища, ребята, я вам доложу, меня аж самого пробрало. И тут мой дядя и говорит: "Валера, говорит, я скоро уеду, и мы больше не увидимся. Хочу тебе подарок сделать. Такой, чтобы память тебе была. Говори, что ты хочешь. Говори, не стесняйся — у меня денег много, даже слишком много". Я, ребята, просто ошалел. Стою осел-ослом и молчу. А дядя Бадри посмотрел мне в глаза и, видать, все понял. В понедельник поехали мы с ним в "Березку", внес он пять с половиной тысяч, а я получил квитанцию, что машина моя придет через два месяца. Я даже цвет заказал — мой любимый, горчичный. Вот такие, ребята, бывают на свете чудеса.

Первым пришел в себя Реваз.

— Так это надо обмыть! — заорал он, — скорее в Туалет!!

В тот день упились все. И даже хозяин. Так проходил день за днем, год за годом. Дружба их крепла. Они научились обходить острые углы. Жора больше не дрался с Ираклием, а Резо не посмеивался над любовными переживаниями Валеры. Им казалось, что так будет всегда и предположи кто-то из них, что могут произойти какие-нибудь изменения в жизни, остальные просто посмотрели бы на предположившего с удивлением, да и не сказали ничего.

Наступил 198... год, и был он встречен неразлучными друзьями конечно же в Туалете. Они поднимали стакан за стаканом и радовались, не подозревая, что именно этот год будет годом больших и печальных перемен.

Начал Реваз. Совершенно неожиданно он бросил свою ненаглядную Кэтино, своих любимых Лию, Тамазика и



Тамрико и, женившись на молоденькой девушке, о существовании которой его друзья даже не подозревали, перестал ходить в Туалет. Спустя месяц пришел и, глядя в угол, сообщил, что перебирается с новой женой в Тбилиси и, резко повернувшись, вышел, не оставив адреса. Это произошло в марте. А в июне трагически погиб Валера. Он возвращался ночью со свидания. Он был полон любовью и прекрасным черным вином. За очередным поворотом серпантина Валера внезапно увидел стоящий у обочины самосвал. Затормозить он не успел.

После похорон Ираклий и Жора пошли в Туалет помянуть друга. Потрясенные свалившимся на них горем, они выпили по стакану любимого валеркиного вина, а больше ни пить, ни говорить не смогли. Молча вышли на улицу и разошлись, не простившись. Реваза на похоронах не было. Вскоре Жора узнал, что Ираклий, неожиданно отрекшись от своей русофобии, уехал в Ленинград и теперь уже можно сказать, что более никогда в Грузию не вернется.

Жора Япония теперь в Америке. Говорят — работает тамадой на свадьбах: опыт жизни в Грузии ему пригодился. Теперь у него и прозвище новое — Жора-Грузин. По друзьям он очень скучает и новых не завел.

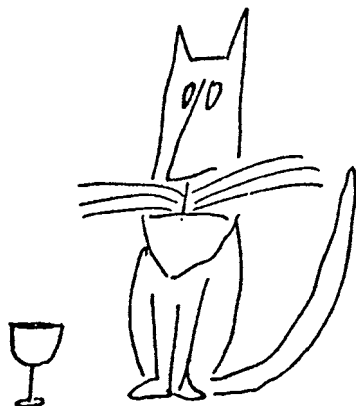
И только Туалет стоит незыблемо на том же месте. Но другие люди хлопают там друг друга по плечам, клянясь в вечной дружбе, не зная, что нет ничего вечного, и думая, что изречение, вычеканенное на перстне царя Соломона, не про них. И слава Богу, что они так думают: ведь дорогие тосты продолжаются!

*Гашовер  
Январь 1996 г.*

ВИТАЛИЙ СКУРАТОВСКИЙ

# Мегафон

Рассказ



*Рис. С. Стейнберга, США*

Насупившись, кот Мегафон сидел на подоконнике и смотрел, как хлопочут хозяйева, укладывая вещи. Он уже давно чуял, что происходит что-то необычное. В последнее время хозяйева стали суетливее, стали чаще уходить из дома, меньше стали обращать внимание на еду для Мегафона, да и на него самого тоже. Уже реже брал хозяйин кота к себе на колени и не гладил его, любовно проводя рукой по его длинной шерсти от головы до хвоста.

Почти перестал хозяйин выводить Мегафона на поводке на улицу гулять. Вид кота на поводке вызывал обычно улыбки окружающих, а сам свободолюбивый кот испытывал при этом унижение. Одного же на улицу кота давно не выпускали после того, как он пару раз по несколько дней не являлся домой после весенних прогулок вместе с соседскими кошками по грязным углам и крышам каких-то сараев. Обычно после этого, едва накормив похудевшего и запаршивевшего от любви Мегафона, хозяйева несли его в ванну и долго мыли...

Но все это было в прошлом. А теперь... Налаженный ритм жизни сбился, везде валялись вынутые из шкафов и старых чемоданов вещи, в углу громоздились банки консервов, а из холодильника вкусно пахло копченой колбасой, кусочки которой раньше иногда перепали Мегафону, а теперь колбаса недвижно лежала внутри этого белого ящика с дверцей и никто ее не ел.

И что уж совсем было необычно — это то, что хозяин перестал обращать внимание на сладкое мегафоново увлечение — онанизм, как это называл хозяин, в извращенной форме, которым кот занимался старательно и демонстративно на глазах хозяев, чтобы те почувствовали стыд и раскаяние за то, что не желали выпускать кота одного на улицу, где иногда, особенно весной протяжно мяукали и даже завывали в любовной истоме такие желанные и такие недоступные теперь для Мегафона кошки...

Но чувство стыда и раскаяния, которое все-таки почти всегда вызывал у хозяев обездоленный кот, в последнее время совсем не возникало у них. Все было наоборот. Своим обостренным, настроенным на обнаружение мышиной возни даже где-нибудь на два этажа выше слухом, Мегафон слышал шепот хозяина и хозяйки в постели.

— Гюля, — сердито говорил хозяин, — сколько раз тебе повторять, чтобы ты не открывала настежь форточку! Ты же знаешь — кот все время рвется на улицу!

— Ты папрасно упрекаешь меня, Велимир, — примирительно отвечала ему хозяйка, — я как раз все время все — и форточки и двери — аккуратно закрываю. И потом, даже если он убежит, он все равно через несколько дней вернется.

— Через несколько дней?! — раздраженно вскрикивал хозяин. — Ты понимаешь, что ты говоришь? А если он не вернется домой к нашему отъезду, что я сдавать билеты, что ли, пойду? И потом, что я сам вместо него ветеринарный осмотр буду проходить? А если он какую-нибудь заразу на улице подхватит? Без этой дурацкой справки его даже через границу не пропустят! Не везти же кота контрабандой! Ведь нас ссадят с поезда из-за него без этой идиотской справки! Отнесись, пожалуйста, к этому делу серьезно.

За долгую жизнь с людьми кот уже давно научился понимать человеческую речь и старался только из-за скрытности своей, да и любой кошачьей природы, не показывать этого, не выполняя иногда даже очевидные приказы хозяина. Но даже и без слов, только по тону голоса, было ясно, что хозяин находится в невероятно напряженном состоянии и просто беспричинно срывает на хозяйке свои непонятные даже для него самого внутреннюю дрожь и страх перед неизвестностью. Эти-то чувства кот мог определить безошибочно...

И вот этот день наступил. Собрав вещи и всю колбасу в чемоданы,

хозяин взял Мегафона на руки, как-то торопливо его погладил и сунул в сумку, оставив торчащей наружу лишь голову кота. Мегафон внутренне возмутился таким грубым ущемлением его и так не очень большой свободы, весь задергался, стараясь выбраться из сумки, не смог этого сделать, затих и стал глядеть на все ненавидящим холодным взглядом...

Затем все долго ехали на каком-то дурно пахнущем снаружи и изнутри автомобиле, отчего Мегафон впал в состояние ужаса. Это чувство ужаса перед любым транспортным средством было внушено коту еще раньше хозяином, который во время гуляний, всегда при приближении автомобиля, лихорадочно брал Мегафона на руки.

В машине нервозность хозяина, казалось, достигла предела. Он постоянно выговаривал хозяйке за ее действительные и мнимые мелкие промахи, был весь какой-то дерганый и сверхзабоченный...

Вместе с другими вещами сумку с Мегафоном внесли через длинный коридор в какую-то маленькую комнату с одним окном и полками. Там пахло почти так же плохо, как в автомобиле, но вместе с этими дурными запахами присутствовали и тонко выделенные Мегафоном запахи разнообразной пищи, когда-то бывшей в этой комнате.

Когда все вещи были разложены по своим местам, хозяин немного успокоился.

— Велимир, Мегафон уже, наверное, устал сидеть в сумке, может, вынуть его оттуда? — спросила хозяйка.

— Ты что — с ума сошла?! А вдруг он здесь убежит? — с оттенком раздражения ответил ей хозяин. — Пусть посидит. Когда поезд тронется, тогда закроем дверь купе и выпустим.

И он, нервно достав сигарету, вышел из купе покурить.

Когда все за окном поехало куда-то назад, хозяин немного повеселел, открыл сумку и выпустил Мегафона на свободу. Кот радостно мяукнул, потянулся всем телом, разминая затекшие от долгого сидения в сумке лапы, и вспрыгнул на ближайшую полку.

Он был спокоен. Он был всегда спокоен, при любых неожиданностях, ибо такова была его кошачья природа. Его спокойствие нарушалось только тогда, когда у него просыпался охотничий или любовный инстинкт. В этих случаях он весь напрягался, был быстр и решителен, даже жесток с соперниками и с охотничьей или любовной добычей, но никогда — ни-ког-да! — не был суетлив и нервен. Он ни разу не изменил своему природному кошачьему аристократизму...

Хозяева поели сами и накормили кота. Поев, он начал осваиваться в этом новом для себя жилище. Он неторопливо обнюхал все купе, важно выгибая хвост, потом вспрыгнул на стол, отчего хозяин прикрикнул на него, потом прыгнул со стола на верхнюю полку и стал с любопытством вглядываться в пролетавшие назад мимо окна картины.

В одном углу купе для него была поставлена заботливо взятая хозяевами миска с водой, в другом — миска побольше, с песком. Однако кот этой большой миской не воспользовался. Дома, в родной квартире, кот, как человек, пользовался для естественных надобностей унитазом, отчего дверь в уборную была специально для него всегда полуоткрыта.

Здесь, в купе, все было для кота очень непривычным, и он медленно привыкал к этой непривычности, ибо перестроиться сразу не мог.

В купе было тесно. При любых своих перемещениях Мегафон тем или иным образом задевал хозяев. Один раз хозяин в очередном порыве нервности ударил его за какое-то даже не понятное Мегафоном нарушение, что дома, в родной квартире, случалось довольно редко. Кот злобно мяукнул и затаил обиду. И когда дверь купе открылась, и человек в черном предложил хозяевам чай, кот выскользнул из купе и бросился вдоль по коридору по направлению к источнику запаха, напоминающего запах квартирной уборной, и добежав до закрытой двери, нагадил прямо в коридоре у этой двери еще до того, как хозяин подбежал к нему, и ударяя его легко по спине, начал приговаривать:

— Нельзя! Нельзя гадить в коридоре! Нельзя!

Но кот не обращал на слова и удары никакого внимания, он был доволен, что немного отомстил хозяину за его нервность, срываемую на Мегафоне. За прегрешение в коридоре он был посажен хозяином снова на какое-то время обратно в сумку.

Наутро следующего дня успокоившиеся было хозяева опять стали вести себя нервознее. Они явно были чем-то обеспокоены. Апогея их состояние достигло тогда, когда в купе вошел какой-то человек, одетый во все зеленое, и хозяева протянули ему маленькие красные книжечки. Своим свирепым видом и грубым лающим голосом этот человек вдруг напомнил Мегафону его соседку по старой квартире, овчарку Пэгги, неоднократно с громким лаем пытавшуюся схватить Мегафона и получившую однажды за это от него удар когтями по морде.

Человек-собака несколько раз перевел взгляд с книжечек на хозяев и обратно и затем отдал книжечки хозяину. Он поднял обе нижние

полки, посмотрел, что под ними лежит, и остановил свой недобрый взгляд на Мегафоне.

Кот, хорошо зная по опыту, что существа, издающие одинаковые звуки и имеющие одинаковое выражение глаз, ведут себя почти одинаково, приготовился было к защите. Он даже угрожающе мяукнул и поднял лапу с выпущенными когтями, готовясь нанести свой коронный удар, так безошибочно отбивающий у собак желание к дальнейшему нападению. Но человек не напал, а грубо сказал хозяевам: “Всем оставаться в купе!”, - и вышел, шумно закрыв за собой дверь.

Потом пришел другой человек в черной одежде, спросил что-то хозяев насчет чемоданов. Хозяин открыл один, затем другой. Человек порылся в чемоданах и о чем-то заспорил с хозяином. Этот человек был лучше предыдущего, он говорил мягче, своими повадками и выражением лица он напоминал Мегафону кошку и из-за этого сходства Мегафон почувствовал к нему даже какое-то расположение. Кот нежно мяукнул и потерся об ногу человека как раз в тот момент, когда этому человеку что-то не понравилось в хозяйских чемоданах. Кот хотел успокоить его и примирить с хозяйскими чемоданами. Одновременно хозяин что-то сказал человеку и улыбнулся, тот засмеялся, нагнулся и погладил кота. В это время хозяин быстро вынул из сумки бутылку с коричневой жидкостью, у которой, как это хорошо знал Мегафон еще из своего опыта жизни в старой квартире, был очень противный резкий запах, и протянул с какими-то веселыми словами человеку в черном. Тот мельком окинул бутылку взглядом, принял ее из рук хозяина и сунул в специальный карман на внутренней стороне своего черного кителя. Хозяин и человек весело распрощались друг с другом, при этом человек пожелал хозяевам и персонально коту счастливого пути и вышел.

— Спасибо Мегафону, — возбужденно сказал хозяин хозяйке, когда за человеком в черном закрылась дверь, — если бы не кот, этот хмырь бы не размягчился и могло бы выйти черт знает что!

Хозяин нежно погладил Мегафона и, отрезав кусок колбасы побольше, протянул коту. Подумав о том, что вслед за появлением приятных людей, похожих на кошек, всегда следует что-то приятное лично для него, Мегафона, кот важно и не торопясь сжевал колбасу...

Через некоторое время, когда поезд опять тронулся, хозяин повеселел и даже засмеялся, показывая хозяйке что-то за окном.

Мегафон вспрыгнул на стол и увидел, как снаружи медленно

проплывают назад какой-то свирепого вида человек в зеленой одежде с черным паукообразным предметом на груди и полощущееся на ветру трехцветное, бело-сине-красное знамя...

После проезда границы хозяева впали в неистовое веселье и даже выпили бутылку шампанского, причем разыгравшаяся хозяйка даже мазнула рукой в шампанском по усам Мегафона, заставив его обиженно мяукнуть и долго облизываться, чтобы устранить этот неприятный для него запах алкоголя...

В той повой квартире, где поселились хозяева с Мегафоном, все было по-иному. Вместо затхлого запаха, к которому кот привык в старой квартире, в этой пахло свежо и резко какими-то непривычно новыми для кота запахами. В углах и под мебелью не было пыли, напрочь отсутствовала паутина, мебель была новая, настолько новая, что кот от отвращения к ней даже нагадил на красивый диван, за что был обруган и даже легко побит хозяином.

Кот медленно, но методично осваивался в новом жилище. Не торопясь, он исходил все его комнаты, заглянул во все уголки и затем, удовлетворенно урча, устроился на коленях снова подобревшего и успокоившегося хозяина. Тот, как уселся перед телевизором, так и не вставал с кресла долгое время, изредка восторженно вскрикивая и похохатывая. Один раз хозяин со словами: "Учись, Мегафон, как надо мышей ловить!" повернул голову кота к экрану, на котором в этот момент какой-то неестественный цветной кот ловил такую же неестественную цветную мышь, постоянно ускользающую от него и выделявшую множество разных фокусов. Мегафон понаблюдал за их возней и подумал, что этот цветной кот какой-то тупой и малахольный, что у него, у Мегафона, эти мышинные фокусы не прошли бы и что, если бы телевизионная мышь была настоящей, живой и перед ним, она уже давно была бы в его, мегафоновых, лапах. Но хитрая мышь постоянно брала верх над незадачливым котом, и Мегафон с возмущением и скукой отвернулся от экрана.

Хозяин выводил Мегафона так же, как и раньше, на поводке гулять в огромный тенистый парк, расположенный недалеко от нового жилища. В этом парке ходили хорошо одетые люди, прогуливавшие иногда ненавистных Мегафону, но здесь почему-то не таких злобных, собак. На лужайках загорали под солнцем абсолютно голые мужчины и женщины, в уютных кафе за столиками многочисленные люди с добрыми лицами и неторопливыми манерами пили пенящийся напиток, который хозяин называл

пивом и который он, хозяин, пил только дома из маленьких бутылочек, что, как понял Мегафон из слов хозяина, обходилось намного дешевле, чем в кафе.

Все это — и обилие людей, спокойно пьющих пиво, и множество блестящих яркими красками чистых автомобилей, и голые на лужайках, и чистота на парковых дорожках, почти полное здесь отсутствие грязи и мусора где бы то ни было, и специальная еда для кошек, которой здесь кормили Мегафона, а главное — безмятежность и размеренность этой жизни — вызывали у кота непонимание и неприятие, а это порождало раздражение и страх. Даже собаки, которые в прежней стране, по другую сторону красного флага, были агрессивны и постоянно старались схватить кота, здесь почти равнодушно, с очень воспитанным видом, проходили мимо него. Они Мегафона, очевидно, и за кота-то не считали, и от этого он возненавидел их гораздо больше, чем в той стране, в которой собаки хоть и были грубее и злее, но все-таки признавали его за живого противника, достойного их агрессивного внимания и атаки. Кроме хозяев, здесь почти никто не обращал на Мегафона ласкового и искреннего внимания, он был здесь никому не нужен и не интересен. Он был здесь одинок, он скучал, все здесь было для него чуждым, далеким и неприемлемым...

Между тем, через несколько дней такой спокойной и размеренной жизни Мегафон почувствовал, что хозяин, как перед отъездом сюда, опять стал каким-то нервным и озабоченным. Он рано уходил из дома, и когда приходил, садился есть, отрешенно и нервно разговаривал с хозяйкой.

— Ну что, Велимир, — говорила она, — что ты узнал сегодня? Какие у нас есть шансы остаться?

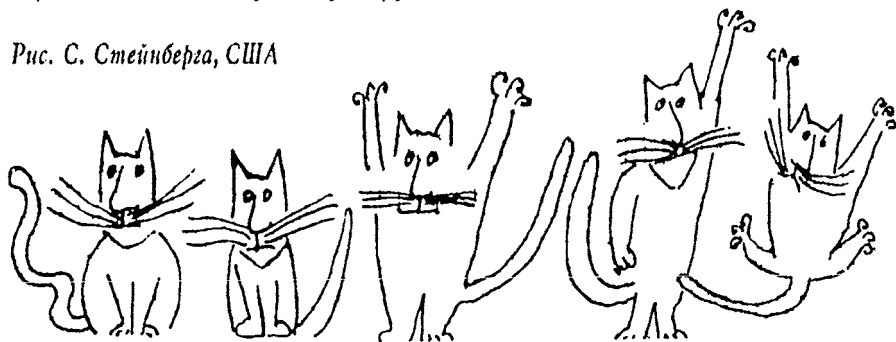
— Шансы у нас есть, — раздраженно отвечал хозяин. — Можно попросить асиль, можно остаться по пятому пункту — мать у меня все-таки как-никак еврейка. Но не в этом же суть! В Москве у нас работа, друзья, знакомые, книги, квартира, наконец! И потом — что я, да и ты, что мы будем здесь делать? Где и какую мы найдем здесь работу? А если мы эту работу потеряем? На что мы будем жить? А потом — как общаться здесь, когда мы с тобой совершенно не знаем языка? Не жестами же немых?! И с кем общаться? Тут все настолько заняты своими делами и так воспитаны, что ни о какой культуре кухонного общения, как у нас в Москве, и речи быть не может! Мы здесь подохнем от скуки!

— Ну, так что же мы решаем? Остаемся или нет?

— Отстань ты от меня с этим дурацким вопросом! — раздраженно кричал тогда хозяин. — Откуда я это знаю? Я не могу это так сразу решить! И там ужасно и здесь ничего непонятно и неизвестно! Отстань от меня! Хочешь — оставайся! Хочешь — поезжай домой, только меня не дергай!

Хозяйка деликатно умолкала или говорила какую-нибудь примирительную фразу, хозяин опять мрачно утыкался в телевизор. Эти сцены повторялись теперь почти ежедневно, и Мегафон знал, что в эти моменты лучше не показываться хозяевам на глаза, и тем более, не лезть к ним — нарвешься на незаслуженную грубость.

*Рис. С. Стейнберга, США*



Время шло. Иногда хозяин садился перед телевизором и отрешенно глядел в экран. Мегафон хорошо понимал в эти минуты, что хозяин там ничего не видит и погружен лишь в свои какие-то непонятные мысли.

— И все-таки, Велимир, — сказала однажды хозяйка, — пора кончать с этой неопределенностью. Мы не можем жить здесь вечно как туристы. Да и деньги кончаются. Что же мы, наконец, решаем — остаемся или нет?

— Что ты ко мне пристала?! Ну, хочешь, я напишу заявление о политическом убежище? Хочешь? Я сейчас напишу. А за последствия пеняй на себя!

Он сел и с мучительным выражением на лице стал нервно покрывать листок бумаги своим круглым порывистым почерком.

— Вот, — сказал он, закончив писать и протягивая хозяйке испанный листок. — Ты этого хотела?! Тогда подпишись тоже.

Хозяйка прочла листок и расписалась под ним.

— Довольна? — спросил хозяин. И вдруг с какой-то дрожью в голосе сказал: — Дай мне чего-нибудь выпить — я уже устал от всего это-

го, мне уже здесь ничего не хочется...

Они ушли на кухню и стали там, еще по старой, доотъездовской привычке, пить дурно пахнущую темно-желтую воду, называемую ими здесь незнакомым для кота словом “бренди”.

Мегафон вспрыгнул на стул, затем па стол, чего он себе обычно не позволял, боясь гнева хозяев, и понюхал листок, оставленный на столе. От бумаги, заполненной неровным хозяйским почерком, пахло чистым парком, равнодушными собаками, голыми на лужайках и стерильной кошачьей едой из консервных банок. От нее пахло отсутствием грязных помоек, людским равнодушием в сочетании с приторной вежливостью и монотонностью существования. От нее пахло тем, что было так чуждо и потому так ненавистно Мегафону. От нее совсем не пахло человеческим и животным душевным теплом в сочетании с человеческой и животной ненавистью друг к другу. От нее даже пахло тленом, но не тем реальным и сладким, к которому Мегафон привык в своей старой жизни, еще до переезда сюда, а каким-то стерильным, отдающим пластмассой и дезодорантным запахом местных уборных.

Нервные закорючки хозяйского почерка лишь усилили страх и чувство гадливости Мегафона ко всему этому чистому и хорошо организованному новому миру. Кот злобно мяукнул, царапнул бумагу, чуть порвав ее выпущенными когтями, и со злорадным наслаждением нагадил прямо на середину листка...

— Гюля, смотри, что наделал Мегафон! — закричал хозяин, зашедший в комнату за сигаретами. — Он решил нашу неразрешимую проблему чрезвычайно оригинальным образом!

В голосе хозяина совсем не было гнева. Мегафону, спрятавшемуся было под кровать от, как казалось, неминуемого наказания за его наглое преступление, даже почудилось в настроении хозяина какая-то веселость, облегчение, и потому кот наполовину вылез из-под кровати и смотрел во все глаза, еще не понимая, что его ждет — ласка или наказание.

— Гюлечка, дорогая, мы не останемся, мы едем домой! — голос хозяина даже звенел, от его настроения мрачной нерешительности не осталось и следа. — Судьба в лице кота, вернее, в лице его прямой кишки, определила наше решение! Все, оказывается, так гениально просто! И потом — нельзя же идти с такой вонючей бумажкой в приличное западно-германское учреждение! Как говорится в старом анекдоте, французы не поймут! А новую я писать не стану — монету два раза не подкидывают!

Он веселился, как ребенок, он закружил в туре танца хозяйку и даже поцеловал ее.

Мегафон понял, что на сей раз самая недозволенная из пакостей пришлось хозяевам по вкусу, и мякнул, оставаясь, на всякий случай, на половину под кроватью.

— Мегафончик! Моя прелесть! — бросился хозяин к Мегафону, схватил его на руки, погладил и даже поцеловал в пушистый лоб. — Ты сам не знаешь, что ты — перст судьбы! А ведь от судьбы, — обратился он к хозяйке, — не уйдешь! Мегафону здесь явно не нравится. Он даже мастурбировать здесь перестал! До чего западная жизнь довела кота! А до чего она могла бы и нас довести?!

...Когда они садились в поезд, такой же, на каком они приехали сюда, хозяин опять погрустнел и даже как-то опал.

Когда поезд тронулся, кот, сидя на руках у хозяйки, увидел, как хозяин встал у окна в тамбуре и все время курил, глядя на проносящиеся мимо поля, как бы составленные из отдельных лоскутков, аккуратные чистые домики, автострады, полные чистых и дорогих машин, на всю эту сытую, счастливую — не для него — жизнь. Кот заметил, как возвратившийся в купе хозяин, отвернувшись от хозяйки, смахнул с лица слезу...

После того, как их купе опять посетили люди сначала в зеленой одежде все с теми же свирепыми выражениями на лицах, а потом вежливый человек в черной одежде, опять что-то искавший в их вещах, хозяин, не глядя на хозяйку, мрачно сказал:

— Ну, вот мы и на родине...

И когда мимо окна потекли пейзажи с бесконечными цельными полями, покосившиеся избы, грязные автомобили на грязных, разбитых дорогах и железнодорожные станции с облупившейся штукатуркой и плохо одетыми торговцами всякой вслячиной и одиноко бегающими собаками на перронах, кот Мегафон окончательно успокоился, вспрыгнул на верхнюю полку, устроился поудобнее, сладко и долго зевнул и начал с наслаждением заниматься онанизмом в своей самой любимой — извращенной форме...

---

*Скуратовский Виталий Яковлевич родился в 1939 году в Москве. По образованию инженер-электромеханик. Сменил множество специальностей — от арматурищика до преподавателя ВУЗа. Опубликовал более 500 рассказов в бывшем СССР и за рубежом. В 1994г. в Москве вышел сборник его юмористических рассказов и афоризмов. С 1994г. живет и работает в Германии.*

ВИКТОР СЛАВКИН

# Странное ружье

Рассказ

Сосед уезжал в отпуск. Ну и, как водится, оставил нам на сохранение свои вещи.

— Вот, постерегите, пожалуйста, кактус, аквариум с рыбками и ружье.

Все это он насилу дотащил до нашей комнаты, сказал: “Уф!” — и уехал в отпуск.

Только на второй день стали мы к чужим вещам присматриваться. Кактус обыкновенный — колетя, рыбки тоже как рыбки — золотые, а вот ружье... Странное какое-то. В общем стоит себе и не стреляет. Мало того, что не стреляет, а даже неизвестно на что нажимать и в чего целиться.

— Непонятное ружье, — говорю я жене.

— А чего тебе непонятно? — отвечает жена.

— Как чего, — говорю. — Что ж это за ружье, которое все из дерева сделано.

— Как из дерева? — говорит. — Не видишь, что ли, эти железные планочки и крючки?

Гляжу, действительно, планочки и крючки на деревяшку нацеплены.

— Это, — говорю, — наверное, шептало.

— Где же шептало, если оно, как за него потянуть, не шепчет, а скрипит.

— Точно, — соглашаюсь я, — скрипит и ящичек выдвигается.

— Прямо, хоть клади туда что-нибудь, — говорит жена и кладет туда носовые платки.

— Ну-ка, за второй крючок потяни, — просит.

Тяну — дверка на меня отъезжает, и зеркальце показывается.

Посмотрел туда, гляжу — небритый. Стал бриться. Бреюсь, смотрю в зеркало и думаю: "Ну, и ружье! Наверное, с оптическим прицелом".

Заглянул внутрь. Внутри полочки понаделаны. "Ох! — думаю. — Патронов сюда влезет — уйма!"

Только мы с женой это странное ружье как следует рассмотрели и научились им пользоваться, глядь — сосед из отпуска вернулся и стал вещи от нас уносить.

Сначала кактус унес. Потом аквариум. Потом рыбок по одной перетачил. Потом за ружьем пришел.

— Помоги, — просит, — один не дотащу.

Навалились мы с ним, еле с места сдвинули.

— Я смотрю, — говорю я соседу, — и просто удивляюсь. Что-то, смотрю, ружье у тебя больно странное. Разве такие ружья бывают?

— Не бывают, — отвечает сосед, — потому вовсе не ружье это, а шкаф. Я, когда уезжал, оговорился.

И, точно, — шкаф. Самый обыкновенный. Из мореного дуба сделан. С разными зеркалами да ручками. Взял я на одну и нажал, чтоб окончательно убедиться, что это шкаф.

Вдруг как бубухнет, даже огонь показался. Мы на пол попадали, а пуля мимо прошла и в стенку врезалась. Никого не убило.

— Что это? — лежа, спрашивает меня сосед.

— А это он, шкаф твой, — отвечаю я не поднимаясь с полу, — долго у меня как ружье стоял. Вот и привык. В следующий раз оговариваться не будешь. Следи за своей речью.

*Виктор Славкин, известный прозаик и драматург, чьи пьесы, переведенные на многие языки, поставлены в разных странах (см. о нем словарь В. Казака, ОР1, London, 1988)*

ЖЕНЯ ШЕФ

«Политические насекомые»  
или  
*Прикладная энтомология  
на службе предвыборной борьбы.*

“Глядь, эти-то — что пауки в одной банке!”  
*Русское народное выражение.*

ПРЕДИСЛОВИЕ.

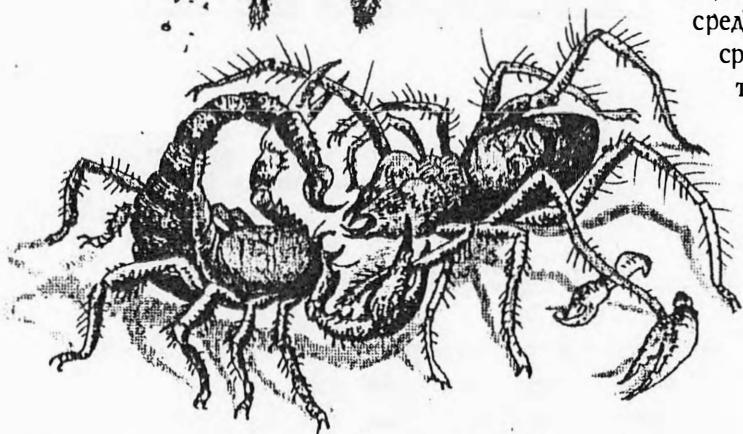
Не секрет, что традиционно организованное общество подчиняется законам органики. Как и в природе, в нем царят условия естественной борьбы за выживание, непрерывающаяся схватка за лидерство.

Часто скрытое, соревнование это порой становится заметнее, особенно ярко проявляясь, например, во время спортивных состязаний, в моменты социальных и расовых столкновений и, особенно, в периоды политической борьбы.

Россия, долгое время находившаяся в “большевицком морозильнике”, ныне возвращается к традиционным формам общественного устройства и связанным с ним законам конкуренции. Грядущая в ней предвыборная кампания как никогда обострит дремлющие в обществе скрытые биологические инстинкты.



Английский  
Тарантул  
(*Tarantula  
arviculae*)  
в схватке  
с  
обожковен-  
кой скорпио-  
ном  
(*Tarantula  
domestica  
comitensis*).



Обожковенная  
Бухорка (*Solpuga*)  
в борьбе со скорпионом. С.С.

Стойкость в борьбе за выживание, степень приспособленности к окружающей среде, способы защиты и, тем более, нападения — вот качества, обеспечивающие лидерство как среди людей, так и среди представителей животного мира. Более того, можно даже сказать, что победа того или иного вида является результатом сходных, почти универсальных для всего живого мира качеств.

Исходя из вышеизложенного, можно, через ряд умозаключений, прийти к выводу, что политическая борьба — не что иное, как естественная для всего живого борьба за выживание. На этом и построена идея нашего опыта.

## ОПИСАНИЕ ОПЫТА.

Берем несколько хищных пауков\* и наносим им на спинку /верхнюю часть брюшка/ раствор азотнокислого серебра в желатине, т.е. эмульсии, находящейся обычно на фотобумаге. После чего экспонируем в темноте через увеличитель негативы фотографических портретов политических лидеров на участки хитина, покрытые раствором. Если мы возьмем особую, так называемую "аристотипную" или "поляроидную" фотоэмульсию, проявляющуюся прямо на свету, то достаточно будет выставить насекомое на солнце — и, спустя уже короткое время, оно будет разгуливать с портретом "фаворита" на спине.



Теперь, чтобы "воспроизвести" предвыборную борьбу кандидатов,

*"Scorpio Roselli"*  
(в натуральную величину). г.с.

достаточно посадить подготовленных, таким образом, насекомых в общий аквариум, лишив их питания, предоставить естественной /"предвыборной"/ борьбе. Спустя определенное время, движимые голодом и связанным с ним разгулом инстинктов, хищники начнут пожирать друг друга, так что разжиревшая физиономия на спине "победителя" укажет нам возможного "лидера" на место будущего президента.

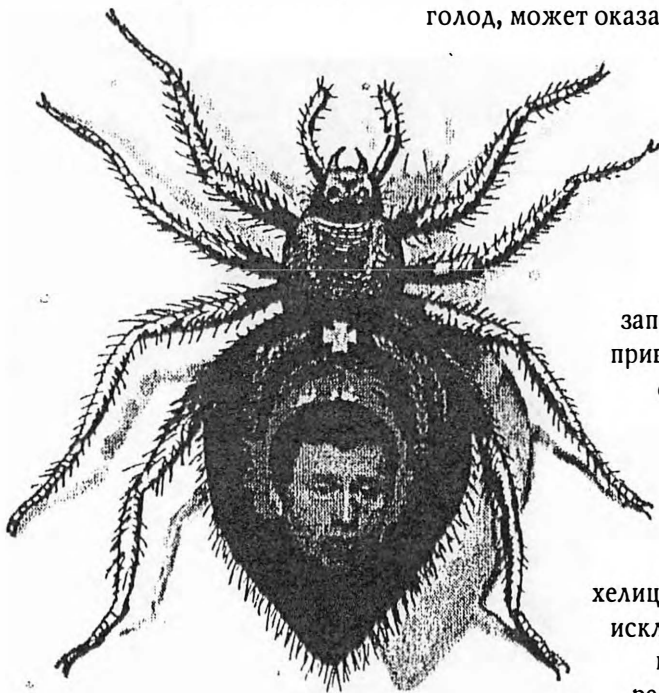
\*Желательно — семейства тарантулов (Lycosidae)

## СТЕПЕНЬ "ЧИСТОТЫ" ЭКСПЕРИМЕНТА.

К сожалению, сразу надо отметить относительную точность предсказания. Причин этому несколько. Так, личная масса пауков не всегда адекватна их скрытой силе. К примеру, невзрачный с виду каракурт /*Lathrodectes tredecimguttatus*/ в критический момент может прибегнуть к своему крайне действенному яду — и одним лишь точным укусом парализовать значительно превосходящего по массе противника.

Точно так же, необходимо учитывать степень сытости кандидатов. Участник, пришедший к началу эксперимента уже насытившим свой голод, может оказаться и более вялым в борьбе за лидерство.

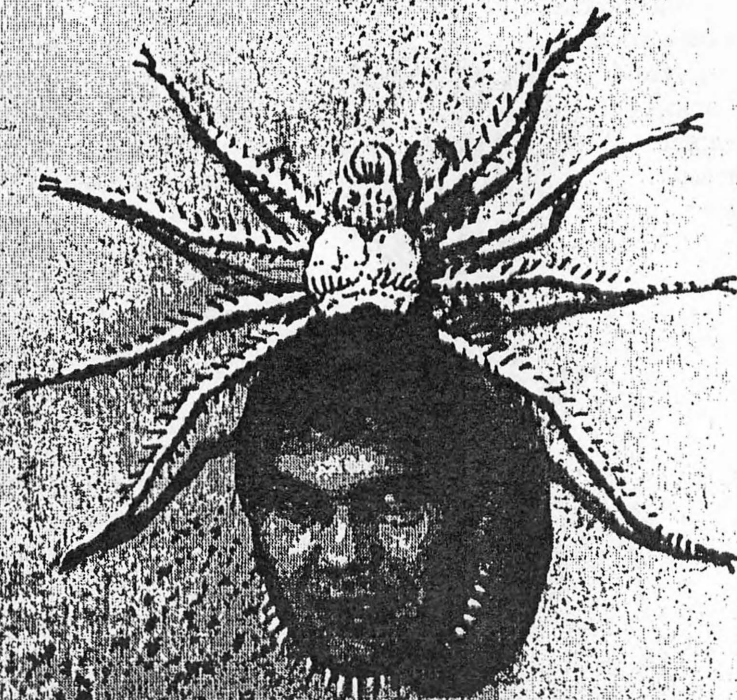
Однако, и здесь возможны неожиданности: хорошо откормленные кандидаты, к примеру, могут обладать и большим запасом сил. К тому же, привычка к постоянной и обильной еде хорошо развивает челюсти, совершенствуя кусательный и глотательный аппараты, укрепляет хелицеры. Вместе с тем, не исключено, что голодный кандидат, в свою очередь, может проявить и большую агрессивность по отношению к соперникам, улучшив бойцовые качества.



"*Tegenaria domestica politicae*"  
(*Vulgaris*).

С.С.

Политический паук  
(обокновецкий)



Тегенария politicae  
(коммунист) г.с.  
16.

## ВИДОВАЯ ОДНОРОДНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ.

Предварительно мы описали эксперимент как воссозданный с помощью членистоногих одного вида, в данном случае, пауков. Но, может быть, мы слишком ограничили, изначально, многообразие участников предвыборной борьбы.

В связи с этим вопрос: нужно ли, привлечением, чисто определительных и даже

возникает дополнительный ли с целью точности экспериментальной особи лишь одного, либо взять насекомых разных отрядов классов.

Мы склоняемся, после длительных размышлений, к выводу, что надо все-таки, собрать вместе различные особи насекомых, каждое из которых своими повадками, внешним видом, темпераментом, более всего будет напоминать представляемого им кандидата / таковы, например, фаланги, скорпионы, богомолы и т.д. / , причем желательно было бы, в данном случае, добавить и типичные знаки

внешнего устрашения, применяемые реальными кандидатами. Так, неплохо было бы, скажем,



Красная скорпенева (*Scoropendula rufa*)  
в сочетании канализация на  
Тарангула (*Tarantula arctica*). С.С.

скорпиону /Scorpio europaes/, для убедительности, пририсовать небольшие погоны, паукам — птицеядам /Mygalidae/ приклеить на лоб маленькую красную звезду, а иным насекомым — миниатюрную золотистую корону, либо даже — крохотного двуглавого орла!

Данные атрибуты лишь добавят убедительности в наш эксперимент.

### ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА.

Желательно — поздняя весна или даже начало лета. Это как раз то время, когда расцветает окружающая природа, а животный мир окончательно просыпается от зимней спячки. Но и затягивать слишком не стоит: результаты эксперимента желательно получить до начала предвыборной кампании.

### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА.

Опыт необходимо продолжать до тех пор, пока лидер не съест всех остальных насекомых. Разжиревший фотопортрет на его спинке, как было упомянуто ранее, укажет вероятного победителя в предстоящей политической борьбе.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УТОЧНЕНИЯ.

Учитывая важность нашего эксперимента в связи с влиянием его на будущее целой страны, для максимальной точности было бы крайне важно привлечь профессиональных ученых — энтомологов, хорошо знающих повадки отдельных насекомых. Введя в компьютер эту информацию, дополненную массой, размерами и личными качествами каждой особи, одновременно необходимо ввести соответствующие характеристики и реальных кандидатов предвыборной борьбы. Сравнив личные данные политиков и насекомых, компьютер

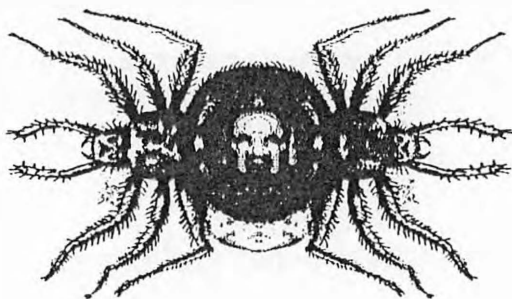
безошибочно укажет, какое из насекомых будет оптимально представлять того или иного кандидата. Это беспримерно повысит точность опыта.

## РЕЗЮМЕ.

Итак, впервые в истории человечества нам предоставляется возможность объединить воедино биологию и социологию с целью предсказания результатов такого важнейшего события в жизни России, как выборы будущего президента.

Нам, конечно, могут сказать, что метод наш является сомнительным и слишком трудоемким.

Не исключено. Однако, мы можем возразить, что он является более надежным и потребует значительно меньшего количества типографской бумаги, чем бесчисленные предсказания доморощенных астрологов и слишком ретивых журналистов.



*Женя Шеф (Евгений Шеффер) родился в Актюбинске в 1954 году. Закончил художественную школу, Московский полиграфический институт и Венскую художественную академию (1993). Выставки: Барселона (1980), Дом Латинской Америки/Монте-Карло (1991), Мадрид (1992), Барселона (1993), Стюарт Леви Файн Арт Галери/Нью-Йорк (1994), Илья Кановаччо Галерея/Рим (1995), Барселона (1996).*

МАРК ХАРИТОНОВ

*В декабре 1992 года, впервые в истории, авторитетнейшая в мире Букеровская премия по литературе была присуждена русскому роману. Первым лауреатом в России стал Марк Харитонов, автор романа "Линия судьбы или сундучок Милошевича".*

## Берлинские размышления

Эссе

Zoo

В берлинском зоопарке можно поглазеть на многих животных, даже не углубляясь внутрь территории, просто прогуливаясь мимо решетчатой ограды, вдоль канала и потом, перейдя через мост, уже на другой его стороне, в Тиргартене. Тут в просторных загонах верблюды и лани, муфлоны с громадными закрученными рогами и пятнистые гиены, там страусы и множество диковинных, чаще всего неведомых мне птиц. На детской площадке ослики, петухи, козлята бродят прямо среди посетителей, вскакивают к ним на скамейки, тычутся в колени, берут корм из рук малышей, и те опасливо, с изумленно распахнутыми глазами, тянутся погладить эти, словно из сказки пришедшие существа...

Пожалуй, именно детским взглядом еще можно увидеть, какое это действительно чудо: разнообразие невиданных, таких не похожих на нас и ни на что знакомое существ. Так в былые времена смотрели на фантастические картинки бестиария: неужели и такое бывает на свете? Зоопарк, как, может, ничто другое, напоминает о реальном разнообразии нашего мира, которое, право же, удивительней любой фантазии. Какое многоцветье оперений, как причудливо устроены тела, рога, клювы, лапы! Как

будто мало Творцу показалось одногорбого верблюда — он создал зачем-то еще и двугорбого. Мы просто уже по взрослой привычке перестали ощущать, какое бессчетное изобилие всевозможных существ обитает одновременно с нами вокруг: в траве, воде, земляных ходах, воздухе; мы не умеем изумленно задуматься над сущью и смыслом этого многообразия — как не задумываемся над многим в нашей привычной жизни.

В этой жизни, скажем, вполне можно бы обойтись немногим, самым необходимым — в одежде, пище, впечатлениях. Но человечество зачем-то придумало избыточное разнообразие яств, нарядов, узоров и продолжает без очевидной нужды придумывать новые, игнорируя возобновлявшиеся в разные времена призывы умерить необязательные, разорительные потребности, зуд любопытствующего ума, жить проще и, может быть, целесообразней, правильной.

Тот султан, что приказал уничтожить все книги, кроме одной, священной, тоже хотел простоты. Для верующего в единственно истинного Бога бессмысленно и неприемлемо существование других, ложных богов. Можно говорить и о каком-то непосредственном религиозном чувстве, предполагающем поверх любых конфессий существование некоего высшего единства, которое всякие частности, право же, лишь дробит и искажает. И разве не остается до наших дней религиозная (как и национальная) разногласица причиной распрей, войн и страданий? Не приходит ли в самом деле пора человечеству позаботиться о большем единстве?... Или единообразии?...

Странную, причудливую цепочку мыслей порождают прогулки вдоль решетчатой ограды берлинского зоопарка: пробуешь заново понять и осмыслить нечто, о чем мы вроде бы не успеваем задуматься. Ведь повседневность каждого неизбежно ограничена, мы видим лишь немного, близкое себе, и действительно немногим обходимся... В каком-то ученом труде я прочел, что сложные системы устойчивей простых; не оттого ли человечество в целом как будто тяготеет к сложности? Но в то же время развитие цивилизации сейчас, похоже, ведет ко все ускоряющемуся перемешиванию людей, языков, рас; все меньше различий в одежде, постройках, быте и многом другом. Японцы и полинезийцы ходят уже в тех же шортах, что и европейцы, и на рубашках у них одни и те же узоры. Исчезают мелкие племена и нации — как, говорят, каждый год безвозвратно исчезают целые виды животных и растений.

Но, может быть, разнообразие наций и языков не такая уж

большая потеря, если на смену ему придет иное, поистине бесконечное разнообразие: разнообразие человеческих индивидуальностей?

Знакомство с реальной жизнью в разных странах, пожалуй, в этом не убеждает. При видимом богатстве возможностей и вариантов слишком очевидны приметы унификации: общество потребления умеет тиражировать не только стандартные продукты, но и вкусы, и сами потребности.

## Sex-shop

Я далек от мысли морализировать на какие бы то ни было темы. Просто открывшаяся возможность соприкоснуться с другой, незнакомой прежде жизнью, по-новому обострила взгляд. Вдруг начинаешь задумываться над вещами, существовавшими прежде как данность. Раз существуют, значит, не без причины возникли, значит, это зачем-то нужно.

Вот и секс-шоп, видимо, нужен для удовлетворения чих-то потребностей. Может, вообще не в моем возрасте об этом рассуждать и даже заходить сюда. Но дело ведь не в одном любопытстве; хотелось бы все-таки уяснить, почему лицемерие всех этих картинок с разнообразными способами спаривания (если, впрочем, это слово применимо для группового, да и для однополого секса), эта демонстрация разнокалиберных искусственных органов и механических приспособлений вызывают у меня мысли не столько игривые, сколько грустные: Боже, какое все-таки бедное создание — человек! К какой простенькой механике — при всей видимой изощренности приемов — сводятся в конечном счете все эти манипуляции с органами, женскими и мужскими: раздражение и убаживание, не более того. Ну хорошо, назовем это наслаждением, о чем говорить, дело знакомое. Но все-таки... И неужели ничего больше?..

Вспомнилось чувство, испытанное несколько лет назад, когда в Мюнхене, в Английском парке я впервые увидел известную лужайку, заполненную нудистами. Женщины, мужчины разных возрастов и достоинств вместе с детьми лежали, ходили, играли в мяч среди вполне одетых, вроде меня. В жизни не видел одновременно столько обнаженных женщин, и среди них, что говорить, были прелестные: смотрел бы и смотрел. (Это потом уже я и на наших пляжах привыкну к подобному зрелищу). Смущало меня одно: вроде никогда прежде не считал себя по этой части

бесчувственным, но здесь ничто во мне, как бы это сказать, не шевелилось. Так, чисто эстетическое, бескорыстное созерцание. Словно включался некий блокирующий механизм — психологический, а, может, биологический.

Пушкина способно было восхитить зрелище женской ножки, точней, даже ступни, чуть выглянувшей из-под длинного платья: «Она, пророчествуя взгляду неocenенную награду»... С тех нор подол все поднимался и поднимался, а вместе с ним поднимался порог восприятия. Вот уже и полная нагота не особенно волнует. Дети моих немецких знакомых, юноши и девушки, ходят в общую сауну, не особенно интересуясь видом друг друга. Да я бы в их возрасте...

Нет, дело все же не в возрасте и не в моем воспитании — не просто старомодном: я вырос в обществе репрессивном, стремившемся подавить самые естественные проявления человеческой природы. Но что-то было не так — не впервые закрадывалось в душу это чувство. И не так давно я получил ему подтверждение. Журнал «Шпигель» опубликовал статью о неожиданных последствиях сексуальной революции. Казалось, она должна была принести высвобождение здоровой, непосредственной чувственности, сделать жизнь более естественной, насыщенной, страстной. Произошло, как ни парадоксально, обратное: многочисленные исследования и опросы свидетельствуют о росте холодности, импотенции, одиночества, отчуждения, скуки, тоски. Все больше молодых людей говорят о своем безразличии к сексу и нуждаются в искусственном стимулировании, заменителях и тому подобном. Знакомая преподавательница рассказывает о своих бывших студентах: девять из шестнадцати живут одиноко. Это совпадает и с моими собственными немецкими наблюдениями.

Статья в «Шпигеле» начиналась с рассказа о новинке — компьютерном сексе, когда с помощью электронных приспособлений и манипуляторов можно испытать ласки самых желанных красавиц или, соответственно, красавцев. Это напомнило мне сюжет прочитанного много лет назад фантастического рассказа: посреди оживленной улицы обнаженные прекрасные девушки, активистки движения за спасение человечества, зовывают спешащих прохожих к себе — совершенно бесплатно. Но те не обращают на них внимания: они спешат к своим электронным устройствам, которые сулят им гораздо большее наслаждение — хоть это и ставит под угрозу само продолжение рода человеческого.

Вряд ли до такого на самом деле дойдет. Развитие человечества

никогда не было прямолинейно последовательным. После Рима времен Петрония и Апулея с его культом самых извращенных наслаждений были Средние века, подавлявшие греховную плоть. В обществе и самой природе вдруг словно включаются какие-то непредвиденные механизмы, вынуждающие людей корректировать свое поведение; возможно, и СПИД из их числа.

## «Призрак великого сомнения»

Речь, конечно, отнюдь не только о Западе. С мировыми поветриями, модами и вкусами у нас можно теперь познакомиться и не выезжая за границу. Те же шлягеры грохочут в громадных залах и на стадионах, многочисленные толпы вскидывают руки, раскачиваются и вопят, приветствуя тех же кумиров, телевизионные экраны заполнены теми же американскими фильмами, рассчитанными на уровень и вкус тинэйджеров, коллективным разгадыванием кроссвордов, спортом и рекламой таких же, как и везде, товаров, продуктов, услуг. Даже самые бунтарские экстравагантности в кратчайшие сроки усваиваются рынком, тиражируются и становятся достоянием той же массовой культуры. Так, наверное, и должно быть: раз это пользуется спросом, значит, это нужно огромному множеству людей — действительно нужно, и что из того, если отдельные индивидуумы, вроде меня, чувствуют себя не очень уютно на этой грохочущей ярмарке?

Но если бы это смущение коснулось только меня! Все чаще западные публикации фиксируют какую-то неудовлетворенность существующим состоянием, смутное желание перемен; все больше говорят о необходимости переоценки ценностей, уточнении критериев и перспектив. (У нас эта неудовлетворенность ощущается несколько по-другому: все отчасти заглушается иными, более острыми проблемами).

«Призрак бродит по Европе — призрак великого сомнения», — пишет польский писатель Анджей Щиперски. Отчасти он связывает это смятение умов с политическими переменами. «Великая антикоммунистическая революция», вопреки ожиданиям, принесла вместо умиротворения усталость, разочарование и беспокойство. Она подвела Европу к глубокому духовному кризису. Одним из проявлений этого кризиса писатель считает

растущую тягу к единообразию. После провала утопической модели, которая давала видимость альтернативы, стало казаться, что возможен и продуктивен лишь один-единственный путь. Переизбыток информации, разнообразных мнений, взглядов, вкусов порождает душевный дискомфорт. Все трудней каждый раз делать личный выбор, проще, если этот выбор будет подсказан, проще передоверить его, а вместе с ним ответственность, тем, кто формирует вкусы и мнения. «Новый феномен нашей культуры, — утверждает Щиперски, — бегство от свободы».

## Что такое элита?

Еще раз: я никак не собираюсь морализировать. Культура всегда существовала и, видимо, будет существовать на разных уровнях; важно это понять и признать. Основная масса людей, не обладающих высоким образованием, занятых повседневным изматывающим трудом, нуждается и в искусстве, которое не зря принято называть массовым. Оно несет необходимую службу, давая удовлетворение и разрядку, оно же и приносит наибольший успех. Миллионерами становятся идолы шоу-бизнеса, авторы неприятных бестселлеров, а не старомодные поэты, которые безглаголиво отворачиваются от таких поделок и толкуют о невзыскательном вкусе толпы.

«Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» — сколько раз приходится теперь слышать эту сентенцию интеллигентам, претендующим на некую высокую «духовность». У этой сентенции есть, кстати, гангстерский вариант: «Если он такой умный, почему он такой мертвый?» — говорит гангстер, стоя над телом застреленного соперника. Доказательство превосходства, как говорится, налицо, — но можно ли тут вести речь о правоте? И какая вообще правота возможна в таком споре?

Если принять необходимость и неизбежность в культуре не только разных явлений, но разных уровней, кажутся одинаково бессмысленными и комплекс превосходства, и комплекс неполноценности. Есть вещи, которые не могут и не должны быть общим достоянием; какие-то идеи, открытия, представления, во всяком случае, поначалу бывают доступны немногим, хотя со временем они могут распространиться и более широко,

оказывая влияние на всех, — но не сразу и не непосредственно, а по ступенькам, от уровня к уровню.

Мир, состоящий из одних лишь высоколобых мудрецов, оказался бы, очевидно, нежизнеспособным. Менее очевидно, пожалуй, обратное: культивирование одних лишь массовых ценностей рано или поздно обрекает общество на вырождение. Для его здорового существования жизненно-насуцпо наличие как бы некоего фермента, весьма тонкой и уязвимой пленочки — слоя людей, сохраняющих и культивирующих ценности иного порядка. В любые времена, и в кризисные особенно, общество должно выделять из своей среды необходимое количество таких людей — для собственного самосохранения.

Назвать ли этих людей элитой? Само слово звучит как бы подозрительно. Тот же «Шпигель» опубликовал недавно статью о проблеме «элитарного» воспитания; в ответ сразу последовала реплика: “А кто будет определять, отбирать — или назначать сам себя — в эту элиту?” Знакомый гамбургский профессор сетовал на сознательно заниженный уровень образования во многих немецких школах: его подгоняют под уровень, доступный всем, в том числе детям иммигрантов, еще не очень хорошо овладевшим немецким языком. Это выглядит демократичным и справедливым, — но вполне ли ясно, чем это отзовется для страны в будущем?

Может, надо просто уточнить для начала, что «элита» в данном контексте означает вовсе не то же, что «истэблшмент» (не говорю уже о пресловутых наших «новых русских», уровень запросов и вкусов которых, при всех претензиях, чаще всего не выходит за рамки самых стандартных и даже низкопробных массовых представлений). Это понятие не предполагает ни привилегий, ни богатства, ни власти. Может, правильной говорить здесь не об элите, а, если угодно, о духовном аристократизме, высшим представителем которого был для меня, например, Осип Мандельштам, ходивший в пиджаке с чужого плеча, но всей своей жизнью, поведением, творчеством утверждавший насущность ценностей высшего порядка — память о которых, может быть, до сих пор помогает всем нам еще держаться.

Когда-то Герман Гессе придумал некий «Касталийский орден», созданный первоначально небольшой группой служителей духа в ответ па катастрофические потрясения эпохи, когда люди оказались как бы «лицом к лицу с пустотой». Это были, как пишет Гессе, те, кто осознал

необходимость «хранить верность духу и изо всех сил оберегать в эти годы ядро доброй традиции, дисциплины, методичности и интеллектуальной добросовестности... Люди знают или смутно чувствуют: если мышление утратит чистоту и бдительность, то вскоре перестанут двигаться корабли и автомобили, не будет уже ни малейшего авторитета ни у счетной линейки инженера, ни у математики банка и биржи, и наступит хаос».

Гессе поместил свою элиту в вымечтанную им «Педагогическую провинцию», где эта горстка людей по крайней мере спокойно могла осуществлять свое не всем, может быть, понятное служение. В реальной жизни — особенно же в нынешней российской — такие люди более других уязвимы, как уязвимы вообще по своей природе люди размышляющие, сомневающиеся, бескорыстные — странные идеалисты, продолжающие утверждать, что есть радости выше материальных, что, кроме секса, в самом деле существует еще и любовь. Они неизбежно чувствуют себя одинокими в мире, ориентированном на потребление и успех, они нуждаются в ободрении и поддержке. Но повторю еще раз: жизненно важно не упускать из виду, что и общество, в свою очередь, сможет обеспечить себе будущее, лишь в том случае, если подобные люди будут в нем сохранены.

*Сентябрь 1995,  
Берлин - Москва*





ВИКТОР ЕРОФЕЕВ



ЭССЕ

(ЗАВЕТНЫЕ СКАЗКИ)

# МОРФОЛОГИЯ



РУССКОГО

НАРОДНОГО

СЕКСА

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ

# Морфология русского народного секса

(Заветные сказки)

## 1. ЖИДКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ

В своем замечательном исследовании русской волшебной сказки В.Пропп сосредоточился на формальных элементах ее состава. Он обнаружил основные матрицы, пружины действия, распределил функции по действующим лицам, сгруппировал мотивации героев. За гранью анализа остался содержательный аспект, который одновременно моделировал русскую ментальность и сам же был ею моделирован. В сущности, то же самое происходит с любой национальной словесностью, фольклорной и авторской.

Тип Ивана-дурака говорит о русском сознании не меньше, если не больше, чем князь Мышкин. Устойчивые структуры ценностей и поведенческие модели в каком-то смысле столь же однотипны, сколь и формальный состав сказки, найденный Проппом.

---

\* Основной корпус заветных сказок насчитывает семьдесят семь наименований. В тексте даются отсылки к номеру сказки.

Заветные сказки, собранные А.Афанасьевым\* (по некоторым сведениям он передал их Герцену во время своей поездки в Западную Европу в 1860 г.), представляют собой группу сказок, которые выделяются по содержательному принципу. Основной особенностью заветной сказки является то, что она говорит о том, о чем русская культура молчит фактически до сих пор. Иными словами, она входит в зону культурно неартикулированной речи и остается там одна со всеми своими трудностями. Она обращена к половой сфере русского народного сознания и подсознания. Предтеча современного анекдота, она точно регистрирует законы, по которым живет половой мир.

Если волшебная сказка — страшная сказка, то заветная сказка — смешная и редко когда волшебная. Смех порождается неадекватным поведением персонажей. Если у волшебной сказки много желаний, то у заветной сказки желание единственное — эротическое. С одной стороны, именно поэтому ее несколько легче анализировать, но, с другой, — она действительно более заветная, в том смысле, что имеет дело с бессознательным и сама себя до дна не просвечивает, сохраняя некоторую принципиальную темноту.

Заветная сказка есть сказка исполнения желания, по своему составу она представляет собой движение от желания к его исполнению. Исполнение желания — положительный итог сказки, который уготован только герою. Точнее сказать, герой (с точки зрения сказочника) предопределяет положительный результат и одновременно утверждает себя в своей роли (для слушателя/читателя) благодаря достигнутому результату. В функциональном отношении ему противостоят ложный герой, который заявляет о своем желании, но его желание не исполняется, а также жертва, которая терпит (страдает) от исполнения героем своего желания. Заветная сказка фактически исключает возможность исполнения желания обеими сторонами, по взаимному согласию, а, следовательно, фатально нуждается в жертве, которой в ряде случаев оказывается и ложный герой.

Заветная сказка, — как правило, крестьянская сказка, действие которой развивается в лоне крестьянского быта и крестьянской культуры со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Кроме того, заветная сказка по преимуществу является мужской сказкой, в которой преобладает мужской взгляд на вещи; она рассматривает мужчину в качестве субъекта, оставляя женщине роль объекта.

В отличие от волшебной сказки, заветная сказка не имеет многочисленных шедевров, но, за редким исключением, обладает энергией стремительного, лаконичного и прямолинейного повествования. Она широко пользуется матом для определения половых органов и действий своих персонажей, а также для их характеристики; помимо этого, она (но в несколько меньшей мере) "ругается по-соромски" (матом), то есть использует мат метафорически или в качестве эмоционально выраженных междометий. Матом пользуются все персонажи сказки, независимо от возраста и половой принадлежности, никто из них не видит в нем ничего предосудительного, грубого, неприличного (хотя герои понимают силу матерного слова: "экое словечко сбухал!", — говорит теща (62) о зяте, употребившем слово пизда). Но если девки в сказке матерятся отчаянно, то это все равно еще ничего не значит. Сказка на то и сказка, чтобы в иноказательной форме повествовать о реальности.

Сказка, в том числе и заветная, есть жидкая ментальность, то есть такая ментальность, которая разлита в повествовании в неосознанном для себя виде.

Как устроен половой мир русской заветной сказки? Это весьма жесткая структура. Мне хочется определить не состав сказки (как у В.Проппа, это попутно), а морфологию русского народного секса (по заветной сказке). Хочется также определить идейную позицию сказителя/повествователя/сказочника.

В общем, нравы простые. На еблю смотрят просто — никто не бежит к пруду топиться (от Карамзина до Арцыбашева обещанные девушки русской литературы выбирают пруд). Нередко это похоже на сделку:

— Не во гнев тебе, барыня, сказать, поводить мне хуем по твоей пизде, я за то дам тебе триста рублей.

— Пожалуй! (33)

Заветная сказка не знает любви (любовные сцены в ней исключение, притом они подаются в ироническом ключе), двусмысленно относится к семейным ценностям и всегда стоит на стороне победителя.

Это сказка прямого действия. Основная конструкция связана с основным фантазмом — эротическим образом, стимулирующим индивидуальное или коллективное возбуждение вплоть до оргазма, иными словами, дорога к оргазму как для самого сказочника, так и для его слушателей. Морфологию заветной сказки схематично можно представить в следующем виде:

1. Он захотел ("истома пуще смерти", — утверждает сказка). Иногда желание мотивировано, в частности, желанием мести (девка смеется над парнем — ей надо отомстить: выебать).

2. Она не хочет, не дает (по разным причинам) — возникает препятствие. Это препятствие поощряется сказочником. Женское желание в большинстве случаев наказуемо. Оно беспричинно (априорно) осуждается, и хотя женщина зачастую представлена в сказке существом блудливым, похотливым, блядью, но ей по положению не полагается хотеть. Есть, однако, некоторые исключения, которые делаются сказочником для наказания ложного героя. Кроме того, заветная сказка готова включить в себя своеобразную крестьянскую декларацию прав замужней женщины: "Что же ты женился, а дела со мной не имеешь. Коли не сможешь, на что было чужой век заедать даром!" (13).

3. Но герою могут помешать посторонние люди. По терминологии Проппа, персонажей, мешающих герою осуществить свое желание, следовало бы назвать вредителями. Круг действия вредителя, по Проппу, охватывает: вредительство как таковое, а также бой или иные формы борьбы с героем. Но в заветной сказке их все-таки надо считать препятствием, исходя из того, что герой сам, вроде бы, им вредит, стремясь выебать родного им человека. Основные агенты препятствия: муж, отец, хохол и т.д.

4. Герой устраняет препятствие и силой (варианты: хитростью, обманым путем или благодаря счастливому стечению обстоятельств, реже благодаря волшебной силе) берет бабу — точнее сказать: насилует — "вот тут-то он натешился" (36) — она остается униженной, "в дурах", над ней смеются, потешаются (она — жертва) — герой уходит домой (уезжает, бежит от мести: "и след давно простыл", или его прогоняют). Иными словами, русская народная ебля рождена, как правило, мужской похотью, но по дороге оборачивается актом унижающей бабу силы — тем она и интересна.

Это видно на примере некоторых животных сказок. Сказочник, как правило, на стороне героя, хотя и здесь бывают инвариантные решения.

Зяц захотел лису (1) — препятствие (в виде ее детей, да и сама она не хочет) — погналась за зайцем — застряла между березами — заяц ее изнасиловал (приговаривая: "вот как по-нашему! Вот как по-нашему!") — и сделал вид, что об этом все узнали — "лиса вспыхнула от стыда".

Однако сказочник готов и перевернуть сказку в пользу жертвы,

если герой хвастается. Воробей захотел кобылу. Кобыла не против, но ей нужна любовь. В уста кобылы вкладывается крестьянский кодекс любви:

— По нашему деревенскому обычаю, когда парень начинает любить девушку, он в ту пору покупает ей гостинцы: орехи и пряники. А ты меня чем дарить будешь?

Воробей приносит ей (хотя про любовь и не думает) целый четверик овса по зернышку. Кобыла оцепила его поступок, соглашается, однако она откуда-то узнает о его плане: "хотите ли, отделаю ее при всем нашем честном собрании?" — и приглашает его созвать своих товарищей. Воробей садится на хвост и проваливается в зад. Следует наказание. Кобыла прижала его хвостом, а потом запердела. Воробей был посрамлен перед товарищами. Он оказался ложным героем.

## 2. ИЕРАРХИЯ ГЕРОЕВ

Мужик, отец, сын, солдат, поп, купец, барин — с одной стороны; баба, девка, попадья, мать, теща, вдова — с другой. Два антагонистических мира, сошедшихся вместе по случаю полового желания. Но и внутри этих миров не существует единства и взаимопонимания.

Если мужик — основной мужской герой сказки, то солдат — любимый герой, сказочник им любит. Солдат гораздо сообразительнее мужика (он, бывает, спит с его женой: "Как легли они вечером спать все вместе: хозяйка в середине, а мужик с солдатом по краям, мужик лежит да разговаривает с женою, а солдат улучил то времечко и стал хозяйку через жопу валять" (56)), он бодрый (не ленивый, как мужик), активный, энергичный и сексуально неотразимый. Он даже способен в сознании ебущихся девки и парня юмористически превращаться в Бога (59) (который, впрочем, "забрал их одежду, вино и закуски, и пошел домой").

Напротив, на другой, негативной стороне русской сказки находится поп — полное посмешище. Сказка мечтает обознаться и превратить его в черта: "...А в сундуке сидит поп весь избитый да вымазанный в саже, с растрепанными патлами! "Ах, какой страшный! - сказал барин, - как есть черт!". Белинский был прав в своем письме к Гоголю. В результате столкновения двух крайностей: солдата и попа — создается особо взрывной эффект.

В сказке "Солдат и поп" (60) сюжет строится по схеме "исполнения желания": "Захотелось солдату попадью уеть; как быть?"

Нарядился во всю амуницию, взял ружье и пришел к попу на двор.

— Ну, батька! Вышел такой указ, велено всех попов перееть; подставляй свою сраку!"

Поп не удивился такому указу. ("Что делать! ихняя воля", — вздыхает поп из другой сказки (70) по тому же поводу). Сказка точно фиксирует всегдашнее господство российского государства над церковью. Солдат в социальной иерархии важнее попа, ближе к власти, царю ("А что, часто царя выдаешь?" — заискивающе спрашивает поп солдата (70). Государство может издать такой указ. Более того, оно его и издало (в некоторой модификации) — после 1917 года. Но поп как русский человек знает, что всякий закон можно обойти, если умело за это взяты, посредством личных отношений. Отсюда его вопрос:

— Послушай, служивой! Нельзя ли меня освободить?

Не кого-нибудь, и тем более не всех попов (бунта поп себе не позволяет), а именно меня, а других попов пусть ебут, согласно указу, раз он принят. В ответ солдат разыгрывает роль подневольного человека, раба государства, набивая, в сущности, себе цену, как классический российский взяточник:

— Вот еще выдумал! Чтоб мне за тебя досталось! Скидай-ка портки поскорей, да становись раком.

А если бы скинул? От гомосексуального акта сказку защищает лишь изворотливость самого попа.

— Смилуйся, служивой! (хорошо, распевно, по-поповски звучит этот служивой) Нельзя ли вместо меня попадью уеть?

Поп грамотно ставит вопрос. Попадью, в его рассуждении, солдату уеть интересней, чем его самого. Возникает ситуация сексуального рынка, которую и хотел спровоцировать умный солдат. О том, что попу попадью не жаль, что ему не больно от мысли, что солдат выебет его жену, нет смысла распространяться.

— Оно, пожалуй, можно-то можно! Да чтоб не узнали, а то беда будет!

Начинается вымогательство.

— А ты, батька, что дашь? Я меньше сотни не возьму.

Договорились. Дальнейшее — порнография. То есть, в сущности, цель сказки:

— Ну, поди, ложись на телегу, а поверх себя положи попадью, я влезу и будто тебя отъебу!

"Поп лег в телегу, попадья на него, а солдат задрал ей подол и ну валить на все корки".

Поп опять-таки как русский человек недолго огорчался по поводу безобразия указа и даже извлек из его исполнения свое удовольствие:

"Поп лежал-лежал и разобрало его; хуй у попа понатужился; про-сунулся в дыру, сквозь телегу, и торчит, да такой красной!"

Поскольку сцене не хватает постороннего взгляда, точки зрения со-глядатая, voyeur'a, в последний момент вводится образ поповской дочери. Именно она, а не сосед или какое-либо иное постороннее лицо, по тонко-му расчету сказочника, придает действию предельно эротическое напря-жение. Как же она себя поведет в такой ситуации? Разрыдается? Набро-сится на солдата с кулаками, защищая родительскую честь? Потеряет, на-конец, сознание? Нет, в сказке она призвана сыграть совсем другую роль. Она должна произнести здравицу в честь солдатского хуя:

"А попова дочь смотрела-смотрела и говорит: "Ай, да служивый! Какой у него хуй-то здоровенный: матку и батьку насквозь пронизал, да еще конец мотается!"

Естественно, здесь предполагается смех слушателя/читателя. Над чем же, однако, он смеется? Над тем, что дочь не разобралась, где конча-ется батькин хуй и начинается солдатский? По сути дела, вся сцена пред-ставляет собой ситуацию погрома, учиненного над невинной поповской семьей. Но сказке до этого нет дела. Она пристрастна, она в восторге от ловкости и мужской силы своего любимого героя, торжествующего над нелюбимым героем, и, что называется, общечеловеческие ценности не принимаются ею в расчет. Мораль сказки строго ориентирована на под-держку героя в любом его поступке. Действия солдата правильны, потому что они верны. Это уже основа бессмертного ленинского силлогизма.

На женской половине роли распределяются следующим образом: девки, по своему амплуа, естественно, епѣиные. Они неопытны (не умеют "поднимать ноги круто"), вместе с тем любопытны и нередко остры на язык (по причине свежего, в первый раз, взгляда, который в сказке высо-ко котируется). Их девичий век краток, к девятнадцати годам (судя по сказке "Добрый отец") им полагается овладеть ремеслом ебли. Сказочник над ними обычно подтрунивает, но иногда, выставляя их глупыми, издена-ется всласть. Бабы по своей функции похотливы, им бы только задрать

подол и "на хую покачиваться". Или дуры. Или похотливые дуры. Функция жен двойится: они полезны и вредны (нередко вражеский образ) одновременно.

Если в сказке появляется вдова — то к ней по ночам обязательно ходит любовник.

В отличие от барина, отчужденного образа, барышни и молодые барышни — наиболее положительные из женских персонажей. Во-первых, они чаще остальных бывают в сказке красивыми, пригожими, во-вторых, знают, чего хотят, наконец, умны. Таких героинь одно удовольствие отработать (акт ебли имеет большое количество синонимов: в основном, глаголов, передающих значение очень активного, напористого действия; они отмечены в тексте курсивом; сказка также пользуется словом "трахнуть" задолго до того, как в 70-х годах XX века оно стало общеупотребительным). Этим можно гордиться, это настоящая победа (с точки зрения сказочника), не то, что выебать девку или бабу (впрочем, тоже неплохо). Барышни/барыни вызывают у сказочника определенное уважение.

Образ старухи двояк, как во всякой русской сказке. Порой это старушка-помощница, например, лекарка, которая заманивает девку к себе домой, пугает тем, что та больна, ставит на четвереньки, завязывает глаза и дает парню ее "полечить" (сладкий сюжет-фантазм о ложной больничке, который любит мусолить заветная сказка; напоминает детские игры в доктора). Но чаще старуха — напоминание о смерти, ебаться с ней стыдно. Девки мужика дразнят, "доводят", если он имеет дело со старухой: "Старуху качал! Старуху качал!". Но старухи умеют огрызаться: "Ах, они такие-сякие! Да разве у старухи хуже ихной-то дыра! Да где им, паскудным, так подмахивать!" (52). Для представления о возрасте: мать девки уже считается старухой (то есть около сорока лет). Впрочем, у сказки со временем отношения гибкие, постоянные нелады.

Сказка редко когда интересуется внутренним миром любой бабы, но бывают исключения. Иногда события разворачиваются с женской точки зрения (15), как ее представляет себе сказочник. Разговорились промеж себя две девки:

- А видала ль ты, девушка, тот струмент, каким нас пробуют?
- Видала.
- Ну что же — толст?
- Ах, девушка, право, у другого толщиной будет с руку.
- Да это и жива-то не будешь!

— Пойдем-ка, я потычу тебя соломинкою — и то больно!  
Поглупей-то легла, а поумней-то стала ей тыкать соломинкою.  
— Ой, больно!

Это уже лесбийский элемент русской народной порнографии, потешная картинка. Но, если принять эту сказку всерьез, как фольклорный учебник по половому воспитанию, позиция девки поумнее покажется удивительной. Сошлись две подружки. Почему же одна вместо того, чтобы объяснить, раскладывает другую на лавке, тычет в пизде соломинкой? Ну, не понимает девка — так разъясни! Зачем издеваться? Во Франции бы объяснили, похотели бы вместе — и объяснили, в Германии бы научно, с анатомическими картами, показали, а в России та, что поумнее, некомпетентной подружке соломинкой больно тычет — издевается. Это такой модус российской коммуникации: получать удовольствие от того, что дуришь другого. Этот русский разговор — чистая эманация зла.

Мотив полового воспитания возникает и в других сказках. Мужик учит дочь блюсти девичью честь (16). Состав сказки относится к основному, многократно повторяющемуся, типу "заветной" морфологии: он захотел — препятствие — преодолел (или не преодолел) — по результату: она дала или не дала — в конечном счете: он — герой или ложный герой, то есть посмешище:

Говорит дочь отцу: "Батюшка, Ванька просил у меня поеть".

Ну, просил и просил. Батюшка, видимо, должен провести воспитательную работу. Что он и делает, но по-своему. Он не удивляется тому, что дочь откровенно с ним обсуждает вопрос (насчет "поеть")(7). Он ей отвечает.

— Э, дурная! Зачем давать чужому; мы и сами поедем!

Это, казалось бы, сказано с грубой иронией, но, оказывается, осуществлено на деле:

"Взял гвоздь, разжег в печи и прямо ей в пизду и вляпал, так что она три месяца сцать не могла!".

Восклицательный знак принадлежит самому сказочнику. Что означает этот знак? К чему относится? Знак относится к отношению. То, что девка "три месяца сцать не могла", его воодушевляет. Ловко проучил ее родитель. Хорошо сработано. Сказочник опускает подробности самого акта с гвоздем, но и так ясно, что перед нами сложная комбинация изнасилования плюс садизма плюс инцеста. Дело, по нормальным стандартам, уголовное, но оно даже не заводится. Все ограничивается восклицатель-

ным знаком. Батюшка покалечил дочку, но научил. Он — воспитатель, положительное лицо. Но его воспитание получило продолжение по касательной. Дурная дочка (бабы-дуры) урок поняла так, что не надо ебаться с горячими хуями, надо выбрать попрохладнее:

”А Ванька повстречал эту девку да опять начал просить: дай-де мне поеть. Она и говорит: ”Брешешь, черт Ванька! Меня батюшка поеб, так пизду обжог, что я три месяца не сцала!”

Воспитание насмарку, если вообще оно предполагалось. Гвоздь был, а воспитание? Батюшка даже не удосужился объяснить, зачем он ей в пизду гвоздь совал. А может так просто, потому что к слову пришлось. Но вот что еще более знаменательно: дочь приняла гвоздь за чистую монету, то есть за отцовский хуй, тем самым в ее сознании инцестуальный акт произошел, и она не придала ему никакого значения. По ее модели, батюшка просто решил ее выебать, чтобы чужому не давать (самим, в семейном кругу получить удовольствие), но оказался его хуй слишком горячим (а она не знала, девственница, температуру хуев, то есть он ее заодно и раздевичил), и получилось нехорошо: она три месяца не могла ”сцать”. А к самой возможности инцеста в сказке всеми (сказочником, отцом, дочерью и, наконец, Ванькой) проявлено исключительное равнодушие.

В сказке ”Добрый отец” (37), ”веселый старик” — действительно гораздо более добрый, чем предыдущий — щупал и отработывал всех девок, которые собирались к его двум взрослым дочерям на посиделки, как только они уснут (их оставляли в доме на ночь), а девки молчали — ”такое уж заведение было”. Но однажды ночью этот сексуальный парадиз кончился тем, что старик случайно отмахал старшую дочь, ”а она спросонок-то отцу родному подмахнула”. Наутро он не мог понять, кого же он все-таки дядил и спрашивает жену.

— Кого? Вестимо, кого: знать, большую дочуху.

Жена не предъявляет мужу претензий не только по случаю его ебли с подружками дочерей (вообще в сказке жены, как правило, не ревнивы), но и с — ”дочухой” (полная толерантность! до такой толеранции не дошла западная сексуальная революция 60-х годов XX века). ”Старик засмеялся и говорит: ”Ох, мать ее растак!”

— Что, старый черт, ругаешься?

— Молчи, старая кочерга! я на доньку-то (на дочку-то) смеюся; вить она лихо подъебать умеет!

А меньшая дочь сидит на лавке да обертывает онучею ногу, хочет

лапоть надевать, подняла ногу да и говорит: "Вить ей стыдно не подъебывать-то; люди говорят: девятнадцатой год!"

— Да, правда! Евто ваше ремесло!

Сказка переплела "мужскую" мечту (всех девок отъебать) и юмор (обознался, а родная дочь спросонок подмахнула), не выделив инцест как какое-либо нарушение. Инцест провоцирует всего лишь смешную ситуацию.

Откровенное торжество инцеста наступает в сказке "Чесалка" (66). Она повествует о глупой поповской дочери, которая приняла хуй за чесалку и требует от барина, чтобы он отдал ей ее предмет:

"Поп смотрит в окно: дочка тащит барина за хуй, да все кричит: "Отдай, подлец, мою чесалку!", а барин жалобно просит: "Батька, избавь от напрасной смерти! Век не забуду!"

Поп спас барина: выставил в окно свой хуй: "Вот твоя чесалка!" Дочка бросила барина и бегом в избу.

— Ах, ты сьякая-такая! — напустился на нее поп, — гляди, матка, вить у нее честности-то нет.

Попадья занимает своеобразную позицию: обыгрывает слово "честность", по сути дела, провоцируя инцест.

— Полно, батька, - сказала попадья, - посмотри сам, да получше.

"Поп долой портки и давай свою дочь ети: как стало попа забирать — он ржет да кричит: "Нет, нет, не потеряла дочка честности..."

Попадья и далее командует инцестуальной еблей:

— Батька! Засунь ей честность-то дальше.

— Не бось, матка, не выронит, далеча засунул!

"А дочка еще молоденькая, не умеет поднимать ноги круто.

— Круче, дочка, круче! — кричит попадья.

А поп:

— Ах, матка! Так и вся в куче!"

То-то смеха было! И словами поиграли, и дочку выебли. "А поп и доселева живет: дочку с матерью ебет!"

Если запрет инцеста считается признаком, отделяющим культуру от некультуры (с этим, кажется, никто не спорит), то персонажи заветной сказки (да и сам сказочник) находятся в докультурном состоянии дикости.

Роль отца-батюшки, самодура и самодержца, распространяется и на сына (12). Сын-дурак — не захотел жениться "да поспать с женой" — отец: рано. Почему рано? "Погоди, сынок!.. хуй твой не достает еще до жопы: когда достанет до жопы, в ту пору тебя и женю". Кажется, и в

этот раз такое заявление можно считать потешной метафорой. Но сказка разворачивает метафору в издевательский сюжет: сын поверил отцу и стал "вытягивать хуй и вот-таки добился он толку, стал хуй его доставать не только до жопы — и через хватает!" Когда отец узнал об этом, он сказал сыну:

— Ну, сыночек! Когда хуй у тебя такой большой вырос, что через жопу хватает, то и женить тебя не для чего; живи холостой, сидя дома, да своим хуем еби себя в жопу.

Предложенный отцом для сына-дурака потешный вариант самосодомизма интересен не только как форма перверсии. Это знак неограниченной власти (с легкостью можно представить себе подобные разговоры между старшиной-отцом и рядовым-сыном).

Однако заветная сказка отнюдь не зареклась хранить верность отцу-самодуру, представлять исключительно его точку зрения. Сказка очень подвижна в своих симпатиях. Она спокойно может отца "продать", обернуться против него, если тот окажется в роли вредителя, сорвет сексуальный акт сына. В "Раззадоренной барыне" сын богатого мужика уже было добился своего, а отец спугнул барыню, и сын напустился на отца:

— Кто просил тебя кричать-то, старый хрен!

Попутно замечу, что обращения в заветной сказке (старый хрен, старый черт, старая кочерга и т.д.) говорят об извечной галантности русских народных нравов; обращают на себя внимание также диалоги мужа и жены:

— Что ты рыло-то воротишь? — спросил мужик. - Смотри, как бы я те не утер его!

— Поди-кась! Твое дело только гадить... и т.д. (43)

Возвращаясь вновь к инцесту, добавлю, он растворен в сказках в разных, в том числе, мягких формах: тетка и племянник из "Бабьих уверток" (71), несмотря на различные хитрости тетки, в конце концов успешно ебутся на одной печи, прямо рядом с дядей. Возникает важная тема коллективного, группового секса. Сыграв на разности значений слова "дать", поповский батрак ебет обеих поповн одновременно: "Тут они обе легли и работник лихо их отмахал" (46).

Коллективный секс, при котором есть, по крайней мере, зрители, свидетели, очень распространен в заветной сказке:

"Где же мы ляжем? — спрашивает попадья, - вить здесь нищий сидит!"

— Ничего, пусть себе посмотрит! — сказал мужик, положил попадю на кровать и давай ее зудить (вар. сандалить)” (65).

Ебля на людях — это потеха и казнь одновременно, или точнее, потешная публичная казнь.

Заветная сказка порой оказывается немотивированно, исключительно жестокой.

Тот же батрак, что отъебал обеих поповн, бежит от наказания, в результате разных приключений оказывается в доме вдовы вместе с самим попом, цыганом и другими. Ночью к ней приходит, как водится, любовник. Батрак, который лег у окна, прикидывается вдовой, объясняет любовнику, что в доме чужие люди.

— Ну, миленькая! - говорит любовник, - нагнись в окошко, хоть мы с тобой поцелуемся!

”Работник повернулся к окну жопою и высунул свою сраку; любовник и поцеловал ее всласть”. После этой невинной шутки работник (под видом вдовы) просит любовника на прощание показать ему хуй:

— Мне хоть в руках его подержать: все как будто будет повеселее.

”Вот он вывалил из штанов на окно свой кляп: ”На, милая, полюбуйся!” А батрак взял тот кляп в руки, побаловал-побаловал (игра заветной сказки с гомосексуальным мотивом. — В.Е.), вынул нож из кармана и отхватил у него хуй вместе с мудьями. Любовник закричал благим матом — без памяти домой”.

Кастрированный любовник так и остался в сказке инкогнито, а работник (который попу еще сует отрезанный хуй вместо колбасы — то есть веселится вовсю) без труда добывается звания героя, которому слушатели сказки отдают свои симпатии, и он ”теперь поживает с этой хозяйкой” (46).

В одном из вариантов этой сказки, где работник заменен сапожником, мелькает образ немца: ”Навстречу им немец.

— Здорово, мир дорогою вам, братцы! Не примите ль в товарищи?

— Какие мы тебе товарищи: мы русские, а ты немец!

После этого неудивительно, что ”сапожник сцыт немцу прямо в рот; тот падает наземь”.

В сказке ”Охотник и леший” (25) охотник, ничего не убив, ”нарвал орехов и грызет себе”. Попадаетея ему навстречу дедушка-леший. ”Дай, говорит, орешков”. Он дал ему пулю.

Почему пулю, а не орехи? Зачем охотник так поступает с дедушкой-лешим?

Леший грызет пулю, "никак не сладит и говорит: "Я не разгрызу!" На это охотник — неожиданный поворот действия — ему:

— Да ты выхолощен, или нет?

Видимо, охотнику пришло на ум сравнение орехов и лиц (об этом можно только догадываться)

— Нет!

— То-то и есть. Давай я тебя охолощу, так и станешь грызть орехи.

Леший согласился. Охотник взял — защебил ему хуй и муде между осинами.

— Пусти, кричит леший, пусти! Не хочу твоих орехов.

Казалось бы, пошутили и хватит. Но не такова русская заветная сказка.

— Врешь, будешь грызть!

"Вырезал ему яйца, выпустил и дал взаправдавской орех. Леший разгрыз".

— Ну вот, ведь я сказывал, что будешь грызть!

Пошел охотник в одну сторону, а леший пошел в другую.

Зачем охотник кастрировал дедушку-лешего? Ради шутки. Это исчерпывающий ответ. Подумал ли он о том, что оп его уродует, калечит? Он ни о чем таком не подумал. Леший — не наш. Оп — другой. С другими можно все. С другими все дозволено. Но и наш может в одну минуту стать непашим. Роли меняются стремительно. По этому принципу организован блатной мир, прямой наследник русской народной ментальности.

Сказка кончается духарно. Леший задумал месть:

— Ну, ладно! Придешь овин сушить, я сыграю с тобою шутку.

Он решает спалить овин вместе с охотником. Но охотник случайно избежал мести. Его пронесло: по причине усталости. Дома он сел на лавку и говорит:

— Ой, жена! Я устал, поди-ка ты овин сушить.

Совершенно неожиданно над женой нависает смертельная опасность. Баба пошла в овин, развела огонь и легла у стенки. Леший пришел мстить со своим товарищем-лесовиком.

"Давай-ка зажгем овин, — предлагает пострадавший. Но товарищ проявляет неожиданную гуманность.

— Нет, давай наперво посмотрим, такова ли у него рана, какую он у тебя сделал?

Зачем же смотреть? Или товарищ лешего поверил охотнику: орехи грызут те, кто выхолощены. Нет ответа. Но решили все-таки посмотреть. Посмотрели.

— Ну, брат! у него еще больше твоей (предполагаемый дружный смех слушателей. — В.Е.); видишь, как рассажена — больше шапки, да какая красная!

И пошли они прочь — в свой лес”.

Произошло сказочное недоразумение. Лешие приняли бабу за охотника (дедушка не разобрался, не узнал того, кто его несколько часов назад кастрировал). В половом отношении не отличили бабу от мужика. Никогда, оказывается, лесовики не видели подобного. Сама же баба так крепко спала, что не заметила, как лешие внимательно изучают ее бабью анатомию. Сказочная натяжка, однако, сигнификативная, перекликается с чеховским (из ”Трех сестер”): ”рабочие спят крепко”. Наконец, дана отстраненная смешная картина пизды: больше шапки, да какая красная!

Не узнал пизды и черт. В традиционном сюжете — как мужик обманул черта — спор идет из-за репы (26). Кому принадлежит урожай: мужику или черту?

”Давай вот что, — предлагает черт, — приезжай на чем хошь сюда, и я приеду. Если ты узнаешь, на чем я приеду — то твоя репа; если я узнаю, на чем ты приедешь — то моя репа.

Мужик согласился. На другой день он взял с собой жену и, подойдя к полосе, поставил ее раком, заворотил подол, воткнул ей в пизду морковь, а волосы на голове растрепал.

Сообразительный мужик сходу догадался, что черт приехал на зайце, а вот черт ”совсем спутался”:

”Волоса — это хвост, а это голова, а ест морковь!”

— Владей, — говорит, — мужик, репою!

Мужик вырыл репу, продал и стал себе жить да поживать”.

Сказка не сообщает о том, договорился ли мужик с бабой, что ради спора из-за репы он ставит ее раком и таким образом показывает черту. Согласна ли была баба добровольно предстать в таком виде перед чертом или возражала? Для сказки это несущественно. Баба, как и заяц, на котором приехал черт, лишь выючный предмет, необходимый в споре.

### 3. ЮМОР И ЭРОГЕННЫЕ ЗОНЫ СКАЗКИ

Жопа есть самое гнилое место заветной сказки, можно сказать, позорный ад. Все, что связано с ней, дискредитирует героя. Герой перестает быть героем, если он перднул, а уж тем более обосрался. Для слушателей сказки это сигнал. В таком случае он превращается в ложного героя или жертву, которую не жалко и убить. Более того, жопа является местом срамного поцелуя или, еще того хуже, лизания. Не знаю, как объяснить такое жопоненавистничество русской сказки, однако оно ни в какое сравнение не идет с вялым отношением к инцесту.

Хуй — молодец, сильное оружие: "Бурлак вынул из порток свой молодецкий хуй и как ударит по дну — так лодка и развалилась надвое" (51). У хуя в сказке огромное число синонимов: хобот, (яйца-бубенчики), струмент, "которым делают живых людей", кляп, збруя и т.д. За хуй до колена богатая купеческая дочь идет замуж за бедняка не глядя. Хуй не стыдно, не зазорно показать: "Вот он вытащил свой кляп, показывает теще и говорит: "Вот, матушка! Это шило все в ней было!". Теща при этом не заверещала, не удивилась: "Ну, ну, садись, пора обедать!" (13).

"Твоим богатством можно денюшки доставать", — говорит невеста своему жениху после того, как посмотрела, "хорош ли у тебя струмент" (20).

У пизды синонимов почти нет (исчерпываются дырой). Сказочник нередко нарочно путает ее с жопой, беря для этого в свои помощники (помощник для сказочника — любой посторонний, незаинтересованный, объективный взгляд), например, детей:

"Раз пошла мать с детьми в баню, посбирала черное белье и начала стирать его, стоя над корытом, а к мальчикам-то повернувшись жопою. Вот они смотрят да смеются: "Эх, Андрюшка! Посмотри-ка, ведь у матери две пизды." — "Что ты врешь! Это — одна, да только раздвоилась".

Пизда нередко воспринимается как рана (см. выше сказку о лешем), болезнь, причем смертельная. В воспитательной сказке "Мужик на яйцах" (24) жил мужик с бабой. Он был ленивый, она работающая. "Вот баба, не будь дура, взяла у отставного солдатака шинель и шапку, нарядилась, приезжает домой и кричит во все горло: "Эй, хозяин! Где ты?" Мужик полез с полатей и упал вместе с яйцами наземь. "Это что делаешь?"

— Я цыплят высиживаю.

- Ах, ты, сукин сын!

И давай его плетью дуть из всех сил да приговаривать: "Не сиди дома, не высиживай цыплят, а работай, да землю паши!"

Юмор — понятие локальное, как и порнография. Мужик не узнал в солдате жену и дал обещание:

— Буду, батюшка, и работать, и пахать, ей-Богу, буду!

— Врешь, подлец!"

Какое может тут быть продолжение сказки после порки? Она и так удивительна. Выпоротый у себя дома непонятым солдатом в шинели и шапке мужик клянется работать. Телесное наказание оказалось полезным. Казалось бы, на этом взятом с мужика обещании можно ставить точку. Но сказка вдруг делается порнографичной. То ли порка возбудила бабу (об этом можно только догадываться), то ли еще по какой причине, но ход сказки оказывается непредсказуемым:

"Била его баба, била, потом подняла ногу:

- Посмотри, сукин сын! Был я на сражении, так меня ранили, — что, поджигает моя рана? Или нет?

Смотрит мужик жене в пизду и говорит: "Заволакивается, батюшка!"

Мужик не только не узнал родную пизду своей жены, приняв ее за рану, но и, как оказалось, соврал состояние "раны", не желая огорчить только что избившего его "солдата". Когда жена, переодевшись, воротилась домой, она застала охающего от побоев мужа, который рассказал ей про порку и сообщил с удовлетворением, что солдат "издохнет": он мне показал свою рану да спрашивал: поджигает ли? Я сказал: "Заволакивает, только больно рдится, а кругом мохом обросло!" (хохот слушателей).

Сказка заканчивается на редкость миролюбиво: мужик перевоспитался и на пашню ездит. Но в сказке "Мужик за бабьей работой" (27) крестьянин наказывается более жестоко. За то, что вместо бабы, захотел заниматься женской работой, он, после каскада несчастий, несет наказание: кобыла отъела ему хуй (то есть в бабу он и превратился). Сказка бдительно следит за тем, чтобы половые функции не смешивались, сексуально-социальные роли размежевывались.

В сказке пиздой пугают (попадья, показывая батраку свою пизду: "Чего ты, глупенькой, боишься? Вить это, право, ничего"), выставляя хитщицей (она с зубами, как у щуки), а поповская жена (43) уверена в

том, что, когда она села на лавку, ее пизда серьги съела. "Села — съела!" — с удовольствием рифмует, скандирует сказка. Сказка с пиздой воюет, унижает, смеется над ней, пугает, что ее зашьют, но пизда ей в руки не дается, пизда сказку обволакивает; рана, больше шапки или с воткнутой морковкой, — а манит к себе, притягивает (правда, не дедушек-леших и черта).

К пизде отношение амбивалентное, к жопе, повторяю, однозначно отрицательное.

"Любовник наливает стакан водки, сам выпивает и ей (купеческой жене) подносит: "На, милая, выпей!" Она выпила и говорит: "Друг ты мой любезный! Теперь я твоя". — "Вот какие пустяки: вся моя! Что-нибудь есть и мужнино!" Она оборотилась к нему жопою и говорит: "Вот ему, блядскому сыну, — одна жопа!"

Все это слышит сам купец (уважаемая, но не обязательно любимая фигура сказки) через окно (окно вообще важная, распространенная деталь декораций заветной сказки; с ним связано много действий вуаризма, но главное: девки высунутся в окно, а к ним сзади подкрадется герой — и тут же выебет), однако месть за неверность и обиду избрал незначительную, остроумную.

Привез ей с ярмарки парчи только лоскут на жопу. Но не убил.

В споре пизды с жопой в сказке с характерным названием "Пизда и жопа" (9) первая пользуется такими аргументами:

— Ты бы, мерзавка, лучше молчала! Ты знаешь, что ко мне каждую ночь ходит хороший гость, а в ту пору ты только бздишь и коптишь.

Ответ жопы, в сущности, оборонительный:

— Ах ты, подлая пиздюга! Когда тебя ебут, по мне слюни текут — я ведь молчу!

Ну, и что? Неубедительно.

Даже основной герой заветной сказки — русский мужик, — если он бздит (в церкви или вообще в любом другом месте), заслуживает наказания, что видно на примере образовательной сказки "Мужики и барин" (21).

Барин, как правило, в народной сказке чужой элемент, не вызывающий симпатий сказочника. Но культурно-просветительную работу барин порой способен в сказке проводить с одобрения сказочника. Сам образ заветного сказочника — это образ культурного героя, взявшего на себя функцию не только систематизировать мир русской ебли, но и упорядочить

его, создав иерархию не разрушающих, а, по его глубокому убеждению, жизнеутверждающих (хотя и не детородных, толкающих к размножению) сексуальных ценностей.

”Пришел барин в праздник к обедне, стоит и молится Богу, вдруг, откуда ни возьмись, — стал впереди его мужик, и этот сукин сын согрешил, так набздел, что продохнуть не можно”.

Дальше началась ”тонкая” барская игра. Барин достает целковый и спрашивает:

— Это ты так хорошо насрал?

Мужик увидел деньги и говорит:

— Я, барин!

Барин дал мужику за это рубль. Мужик не понял иронии. Рассказал соседскому мужику. Они решили в дальнейшем вместе бздеть в церкви в присутствии барина, мечтая тем самым обогатиться. Дождались праздника, пошли в церковь, встали впереди барина и напустили вони на всю церковь. Барин им:

— Послушайте, ребята, это вы так хорошо насрали?

— Мы, сударь!

— Ну, спасибо вам; да, жалко, со мной теперича денег не случилось. А вы, ребята, как отойдет обедня, пообедайте хорошенько да приходите ко мне на дом набздеть, я вам тогда заодно заплачу.

Мужики нажрались и понеслись к барину.

— Что, ребята, побздеть пришли?

— Точно так, сударь!

— Спасибо, спасибо вам! Да как же, молодцы, вить надо раздеться, а то на вас одежи много — не скоро дух прошибет.

Мужики разделись догола, а барин тем временем приготовил им ”добрый подарок” — розог и палок. Махнул он слугам своим; пятьсот палок получили мужики. Насилу выбрались, да — заканчивается сказка — бежать домой без оглядки, и одежду-то побросали.”

Судя по этому примеру, не только желание может стать завязью сюжета заветной сказки, но и глупость. Не было бы народной глупости, мужской и женской (дурней, дур), не было бы и большинства сказок. Глупость — мотор сказки.

Пердеж наказуем, но не этим только славна сказка про мужиков и барина. Велика мера происшедшего недоразумения. Две культуры, барс-

кая и мужицкая, не сообщаются. Мужики забудут, за что были наказаны, но не забудут, что были выпороты. В сказке уже видны зарницы русской революции. Больше того, она просто-напросто предсказана:

”Ванька голой запряг лошадь, поставил сундук на воз, привез к реке и бросил его в воду. Поп с помещиком насилиу выбрались; а Ванька забрал их одежду со всеми деньгами, что в карманах были, и стал со своей женой жить да поживать, да добра наживать, а лиха избывать”.

А добрый сказочник — культурный герой, посредник — зачастую выглядит меньшевиком или ренегатом вроде Плеханова.

Заветная сказка особенно чувствительно отзывается на пердеж при ебле. Анальные отношения допустимы, но пердеть и обсираться ненормально. Это никуда не годится. Всякий раз, когда баба пердит, сказка над ней потешается и унижает.

Впрочем, мужской герой тоже рискует попасть в смешное положение, если будет вести себя неосторожно по отношению к жопе. Согласно схеме ”исполнения желания”, в сказке ”По-собачьи” (34) лакей мечтает отработать дворянскую дочь-красавицу. Лакея сказка не долюбливает, лакей — не солдат, и потому выбирает именно его как свою потенциальную жертву.

”Пошла опа как-то погулять, а лакей идет за ней позади, да думает: ”Эка ловкая штука!”

Желание становится превыше всего, включая страх смерти. В этой безграничной страстности, вплоть до жертвенности, тоже содержится элемент русской ментальности. Страстность повышает важность заветной сказки. Она не занимается ерундой, повествует о самом главном: ”Ничего б, кажись, не желал в свете, только б отработать ее хоть один разок, тогда б и помирать не страшно было!”.

Неосторожное слово сорвалось с лакейских губ, ”не вытерпел и сказал потихоньку: ”Ах, прекрасная барышня! Шаркнуть бы тебя хоть по-собачьи”.

Барышня услышала, дождалась ночи и позвала к себе лакея:

— Пу, коли хотел, так и делай сейчас по-собачьи, пе то все папеньке расскажу...

”Вот барышня заворотила подол, стала посреди горницы раком и говорит лакею (казалось бы, сбывается лакейская мечта, но вместо мечты лакей слышит совсем другое. — В.Е.):

— Нагибайся да нюхай, как собаки делают!”

Лакей вступил в зону унижения, превращаясь в собаку: "Холуй нагнулся и понюхал".

— Ну, теперича языком лизни, как собаки лизут!

Лакей исполнил приказ.

— Ну, теперь бегай вокруг меня!

Лакей обежал барышню "разов десяток, да опять пришлось нюхать и лизать ей языком. Что делать? Морщится, да нюхает, плюет, да лижет!"

На другой вечер повторилось то же самое. По приказу молодой барышни лакей снова "стал ей под жопою нюхать и в пизде лизать.

Этак долгое время угощала его барышня, да потом сжалилась, легла на постель, заворотила подол спереди, дала ему разок поеть и простила всю вину".

Барышня точно разыграла ситуацию преступления и наказания и вышла из игры великодушной победительницей. Но и лакей в конце концов остался доволен: "Ну, ничего! Хоть и полизал, да свое взял".

Сама же сказка объяснилась в своем ограничительном, избирательном подходе к сексуальному действию, указала на допустимое и недопустимое, продемонстрировав наивность собственной морали. Лакейское хоть точно определяет границу сказочного фантазма (отрицательное отношение к куннилингу), за которой кончается мужская победа и начинается его поражение, границу, которая в русской традиции получила устойчивый многовековой характер.

Вместе с тем, если жопа — погибель, говно есть в некотором роде ценность. В сказке "Первое знакомство жениха с невестой" (20) сказочник повествует о первом ночном свидании молодых.

Инициатором становится девка:

— Как же быть-то? Ты где, Иванушка, спишь?

— В сенцах.

— А я в амбарушке. Приходи ночью ко мне, так мы с тобой и поговорим ладпее...

Вот пришел Иванушка ночью и лег с Машуткою. Опа и спрашивает:

— Шел ли ты мимо гумна?

— Шел.

— А что, видел кучу говна?

— Видел.

— Это я насрала.

Невеста об этом сообщает с гордостью, желая повысить себе цену.

— Ничего — велика!

Удивился. Зауважал. На жениха такая большая куча говна произвела желанное впечатление. Сказка, однако, кончается некоторым недоразумением:

”Проснулась она ночью и ну целовать его в жопу — думает в лицо, а он как подпустил сытности — девка и говорит: ”Ишь, Ваня, от тебя цынгой пахнет!..”

Такому сравнению позавидовал бы любой писатель. Но сказочник не спешит переводить невесту в разряд жертв. Дело молодое. Обозналась. Смешно, но простительно.

Насрать — это также и месть. В сказке ”Поп и западня” (39) поп мстит мужику за смерть любимой собаки тем, что срет ему в капкан. Но попу в сказке никогда не везет. Капкан прищемил ему яйца — ”он тут же издох” (в слове ”издох” — не только враждебное отношение к попу; речь идет о русском отношении к смерти). В сказке ”Каков я!” (76), напротив, мужик отомстил обманувшему его попу тем, что насрал ему в шапку. ”Поп сгоряча схватил шапку, что с говном лежала, надел на голову и побегал по деревне искать мужика, а говно из шапки так и плывет по роже: весь обгадился” — немедленно превратился в жертву.

С попом связана и зоофильская ”Сказка о том, как поп родил теленка” (38).

— Ванька! Ведь у меня на печи-то теленок, и не знаю, откуда он взялся.

На это поповский батрак отвечает:

— А вот как: помнишь, батюшка, как мы сено клали, мало ли ты бегал за коровами! Вот теперь и родил теленка!

Зоофилия выглядит как приговор. К зоофилии принуждают ложных героев. В другой сказке поп, по меркам сказочника, падает, пожалуй, еще ниже: он перепутал сперму мужика, который только что выеб его жену, с личницей, ”взял соли, посолил да и слизал языком”. Кроме того, только поп в заветной сказке оправдывает пердеж:

— Что за грех? Я и сам один раз в алтаре перднул. Это ничего, свет! Ступай с Богом!” А поповская натура, — за

ключает сказка, — на чужое добро лакома, за чужим угощением обосраться рада” (42).

#### 4. ФАНТАЗМ И ОСНОВЫ СКАЗОЧНОЙ ПОРНОГРАФИИ

Фантазм, или сексуальная мечта, в заветной сказке прежде всего касается исполнения желания имеющимися средствами. Но заветная сказка порой мечтает и о невероятном. Единственный раз, когда она полностью превращается в волшебную, сопряжен с мечтой о "хуе по колена", мечтой, объединяющей мужское и женское население.

"Волшебное кольцо" (32) — редкий пример секс-волшебной сказки. Сказка имеет несколько вариантов, что говорит о ее популярности в народе. В сказке решается вопрос о том, что важнее: богатство или "хуй по колена".

Как и полагается, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были три брата-крестьянина. Они поделили "имение" не поровну. Старшим досталось много, а младшему мало. Собрались они жениться.

— Вам хорошо, — сказал младший старшим, — вы богаты и у богатых сосватались; а мне-то что делать? Я беден, пет у меня ни полена, только и богатства, что хуй по колена!

Купеческая дочь подслушала этот разговор и решила выйти замуж за младшего. Добилась своего, несмотря на сопротивление родителей. "Легла она спать с мужем первую ночь и видит, что у него хуишка так себе, меньше перста".

— Ах ты, подлец! Ты хвастался, что у тебя хуй по колена; где же ты его дел?

Молодец соврал, что по бедности заложил его за 50 рублей. Жена выпросила у матери денег и велела без большого хуя не возвращаться. Молодец взял деньги и пошел, куда глаза глядят.

Повстречал старуху, поделился горем. Старуха помогла (помощница). Деньги взяла — дала волшебное кольцо. Парень надел кольцо "на ноготок — хуй у него сделался на локоток" (сказка приобретает всякий раз рифму, когда дело доходит до ударного места). Он надвинул кольцо "на целый перст — хуй вытянулся на семь верст".

С кольцом начинаются приключения. Его крадет проезжий барин, пока мужик спал. Надел на палец — у него хуй вытянулся, спихнул кучера и прямо потрафил кобыле под хвост (как и полагается ложному герою). Мужик спас барина, взяв с него двести рублей, и вернул себе кольцо. Дома он с гордостью показал новый хуй с локоток жене. Та пришла в восторг:

— Давай-ка поскорей пообедаем, ляжем да попробуем.

Новый хуй изменил отношение жены к мужу. Она наставила на стол разных кушаний и напитков, кормит и поит его.

Рассказала дочка о новом хуе матери — теща потеряла голову, "только о том и думает, как бы ухитриться... да попробовать его большого хуя". Когда зять заснул, она влезла на зятя и "давай на хую покачиваться". Кольцо сдвинулось — "и потащил хуй тещу вверх на семь верст". Дочь смотрит: а наверху чуть-чуть видно тещу.

"Набежало на то место народу видимо-невидимо, стали ухитряться да раздумывать". Один предлагает хуй топором подрубить. Другой не советует: баба на землю упадет — убьется. Предлагает: лучше миром помолиться, авось каким чудом старуха с хуя свалится.

О том, чтобы самого мужика разбудить, никто не догадался. Он сам проснулся, с трудом повернул кольцо, теща спустилась с небес.

— Ты, матушка, как сюда попала?

— Прости, зятюшка, больше не стану!

В сказке сплелись различные темы: инцест, святотатство (отношение к христианскому Богу внешнее, далекое, подчас глумливое, дело не только в попах), глупость мужиков и т.д. Но главная тема — всеилие большого хуя. Во втором варианте сказки таким волшебным хуем обладает портной, народный эксгибиционист: "А он был такой весельчак и шутник: когда спать ложился, никогда своего хуя не закрывал". Барыня увидела, позвала его к себе:

— Послушай, согласишься сделать со мной грех, хоть один раз.

— Отчего не так, барыня! Только с уговором: чур, не пердеть — а если уперднешься, то с тебя триста рублей.

Барыня старается под портным не усратья, приказала горничной девке приготовить большую луковицу, заткнуть ей жопу, и покрепче придерживать обеими руками. А портной "как взобрался на нее да напер — куда к ебаной матери, и луковица вылетела да прямо в горничную, так ее до смерти и убила!"

Сказочник сообщает, что таким образом барыня лишилась трехсот рублей. А о смерти горничной вовсе не вспоминает (незначительность смерти). Вновь и вновь русский народный секс происходит при людях, на людях, очень часто возникает сторонний взгляд, либо возбуждающийся, либо насмешливый.

Портной взял деньги и ушел, лег в поле отдохнуть, надел кольцо —

у него хуй и протянулся на целую версту. Он заснул, — откуда ни возьмись, семь волков, стали хуй глодать, одной плечи не съели — и то сыты наелись. Хуй таков, что портной не заметил напасти: "проснулся портной — будто мухи кляп покусали".

Дело кончается тем, что он зашел к мужику переночевать, а у того "была жена молодая, до больших хуев великая охотница". Он заснул — она на него залезла, и тогда портной поднял ее в небо.

Случилось то же, что в предшествующей сказке, но конец получился более назидательным:

— Ну, ненаебанная пизда! Смерть бы твоя была, коли б хуй-то подрубил".

Основной фантазм — возбуждающая картинка — дыра. Груды и прочие места почти не рассматриваются (единственное исключение: "тут поп начал с бабой заигрывать, за титьки ее пощупывать...(64), поцелуи, нежности, ласки не существуют, минет отсутствует. Русский народный секс не знает никаких других эрогенных зон, кроме хуя, дыры и сраки.

В этом смысле заветная сказка не эротична, а порнографична. Эротика — эстетизированная форма секса, ее эстетическая эманация. Эротика, во всяком случае, связана с красотой. Порнография есть материализация фантазма. Его овецествление. Сказка порой сочетает порнографию с очевидным садизмом:

"Вскочил он (солдат. — В.Е.), принес хомут, надел поповне на ноги, а там задрал ей ноги кверху, как можно покрутее, и просунул в хомут поповнину голову" (70).

Русская народная порнография почти целиком построена на образе пизды. Обнажение пизды вызывает у сказочника прилив чувств, стимулирующих оргазм. Причем, любимая поза сказочника: по-собачьи, раком. Не раздеть, — а завернуть подол. В заветной сказке баб при ебле не раздевают, только подол задирают. Это делают как мужики, так и сами бабы. Обнажение всего женского тела — момент эротический — сказку не занимает (и когда баба (65) предлагает попу раздеться: "Коли грешить, так грешить: раздевайся догола, так веселее!" жди подвоха: "Поп разделся догола и только улегся на кровать, как муж..." и т.д.).

Главное, навалиться сзади. Это основная поза ебли в заветной сказке, соединяющая наслаждение с унижением. Русский секс выделяет это положение с каким-то особым треском и пафосом.

Такое отношение к половому акту, выраженное в слове "опустить",

до сих пор распространено в мужских коллективах (тюрьма, лагерь, армия и т.д.), когда половое насилие одного мужчины над другим рассматривается главным образом как акт жестокого унижения (об удовольствии, а тем более взаимном, речи не идет).

Заветные сказки фиксируют особый коммуникационный модус русского диалога, который обычно строится не по принципу обмена информацией и расширения познания к удовлетворению обеих сторон, а по принципу соревновательности, словесной схватки, скрытого или явного спора, полемики, в результате которой поляризуются победившая и побежденная сторона.

В диалоге часто выстраивается второе измерение, в которое заворачивает разговор, основанное на образности высказывания. Сравнения и рифмующиеся слова разворачиваются в псевдореальность (это есть в "Мертвых душах"). Общение строится на недоразумении, недопонимании или полном непонимании. Оно постоянно стремится к юродивой коммуникации, при которой "да" неотлично от "нет".

"Набежало на то место народу видимо-невидимо, стали ухитряться да раздумывать". В природе русского человека есть ни с чем не сравнимая раздумчивость.

1995

*Виктор Ерофеев родился в 1947 году в Москве. Писатель, критик, представитель русского литературного авангарда. Автор романа "Русская красавица", изданного в 26 странах. В России, Европе и США вышли книги его рассказов, сборники литературно-философских эссе, новый роман "Страшный суд". Эссе, предлагаемое вашему вниманию, печатается впервые и войдет в собрание сочинений автора.*

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

## Германия и «новая проза» в России.

### Модернизм как интегрирующий фактор.

Доклад на конференции “Немецко-русский форум”  
Берлин, сентябрь 1995

В отличие от большинства докладчиков этого форума я не являюсь академическим ученым.

Я — писатель, прозаик, я — практик. Несмотря на то, что меня, как и некоторых моих коллег, о которых речь пойдет дальше, долгое время считали молодыми писателями, недавно выяснилось, что мы уже примерно два десятка лет существуем в литературе. И если раньше мы имели проблемы с предыдущим поколением, “шестидесятниками”, то сейчас находимся в сложных отношениях с новым поколением писателей, тридцатилетними, двадцатилетними. Мне и моим коллегам, о которых я буду говорить, около пятидесяти.

У меня мало мыслей, но много наблюдений, и поэтому, извините, мой доклад будет самым ненаучным из научных и самым научным из ненаучных.

Взаимоотношение Германии и новой русской прозы я хочу иллюстрировать с помощью самого свежего, может быть, даже скоропортящегося, материала.

Дней десять назад, в конце августа я задал несколько стереотипных вопросов тем писателям, которые известны и в своей стране, и в Германии, но имен которых мы пока еще не видим в школьных учебниках. Мой

доклад субъективен, как и всё в этом мире, где ответы на все вопросы знает только Бог. Но что есть истина, если не совокупность отдельных мнений?

Вопросы были такие:

Что для тебя Германия?

Влияет ли понятие "Германия" на твою прозу?

Каковы, на твой взгляд, отношения немцев и русских сейчас?

Кончилась ли Вторая мировая война?

И последний: что ты думаешь о Чечне?

Слово "ты", а не "вы" здесь объясняется отнюдь не скверным моим воспитанием, а тем, что в России, как в большой деревне, мы все друг друга знаем и, как это ни странно для русских писателей, поддерживаем дружеские отношения. Вот персонажи моего доклада. Виктор Ерофеев, возмужавший "инфант террибль" новой литературы, автор скандальных романов и не менее скандальной статьи с характерным названием "Поминки по советской литературе" мирно уживается в литературном пространстве с Эдуардом Русаковым, живущим в Сибири, далеко от столичной суеты и склонным к большому традиционализму. Бывший врач-психиатр, он скорее продолжает традиции Достоевского, чем Чехова... Анатолий Гаврилов, тончайший стилист, обладающий лирическим и одновременно черным юмором.

Как при коммунистах, так и при власти, называющей себя демократической, он зарабатывает на жизнь тем, что служит почтальоном в старинном городе Владимире. Скоро он впервые в жизни посетит Германию как стипендиат Берлинской академии художеств. Зуфар Гареев — самый молодой из этой обоймы, нервный, экспрессивный, шоковый писатель, герой скандальной хроники, ибо сотрудничал с постмодернистской газетой, которую власти сочли порнографической, с чем не был согласен Русский ПЕН-клуб, защищавший и, я надеюсь, защитивший Зуфара Гареева от преследований.

Я бы сказал, что Сергей Каледин и Дмитрий Пригов полярно противоположны друг другу. Сергей Каледин — гиперреалист, может быть даже гипернатуралист, прославившийся жестоким романом из жизни советских кладбищенских люмпенов, а также романом о советской армии, публикации которого в журнале "Новый мир" препятствовал сам, лично, тогдашний министр обороны СССР маршал Язов. Но роман все-таки

вышел, СССР все-таки развалился, а Язова все-таки посадили в тюрьму за участие в путче 91 года, но потом выпустили. И то, что сейчас и Язов, и Каледин на свободе, о чем-то говорит, а о чем точно — я не знаю. Может быть, о том, что у нас в стране демократия и плюрализм, а, может быть, и совсем наоборот. Дмитрий Пригов — один из признанных лидеров московского авангарда. Крайний формалист и декадент, как сказали бы официальные советские литературоведы, вопреки идеям и прогнозам которых и появилась эта литературная генерация. О себе я говорить не стану, не за этим меня сюда позвали. Скажу лишь, что у меня в Германии, в издательстве Фишер вышли три книги и готовится к выходу четвертая. Кстати, некоторые писатели из тех, о ком я говорю, являются авторами антологии новой русской прозы, недавно выпущенной новым издательством "Берлин-ферлаг", и авторами выходящего в Берлине русского журнала "Остров".

Разумеется, эта литературная гегерация не исчерпывается приведенными мною именами. Слухи о смерти русской литературы вообще сильно преувеличены. Существуют еще и блестящая Людмила Петрушевская, и Вячеслав Пьецух и... И любое перечисление окажется неполным. Я все равно рискую оказаться в немилости у своих коллег, которые все равно скажут мне: "А почему ты меня не упомянул на таком представительном форуме?"

Поэтому, чтобы никому не было обидно, я предлагаю считать писателей, которым я задавал свои вопросы, ПОДОПЫТНЫМИ КРОЛИКАМИ. Но их мнение все же считать репрезентативным, потому что живут они, как поется в советской песне, "от Москвы до самых до окраин". И, кроме того, являются выходцами из самых различных слоев советского общества — от маргиналов до советского хай-класса.

Прошу прощения и у сидящих в зале Владимира Маканина и Марка Харитонова. Первый из них — классик, нравится это ему или нет, но "шестидесятник" хотя бы по возрасту. Марк Харитонов, лауреат премии Букера, выбивается из приведенного мной ряда хотя бы тем, что, на мой субъективный взгляд, является прямым порождением немецкой культуры. Он, единственный, пожалуй, из современных русских писателей, свободно владеет немецким языком и переводит с него. Не говорю я и о людях, живущих вне России, например, в той же Германии. Среди них есть замечательные писатели "новой прозы". Но это — другая тема. Они слишком близко к Германии, может быть они уже — Германия.

Теперь, когда я принес все необходимые извинения коллегам, я могу двигаться дальше.

А что такое «новая проза» в России? Критики немало поломали копий, споря об этом. Я бы предложил считать таковой прозу, которая вышла из андерграунда лишь во время начала конца перестройки, ибо, несмотря на все декларации Горбачева, цензура реально существовала, и моя первая книга была опубликована в России только в 89-м году.

Писатели, о которых я говорю, за редким исключением не печатались в СССР по причинам этическим, эстетическим и политическим. Для них культура — важнее политики, в какой-то степени ее антипод, хотя, как частные граждане, они в политике участвуют, иногда весьма активно, но все же не забывая, что в первую очередь они — писатели. Содержание их произведений — вся эта наша трагикомическая жизнь на исходе столетия, на исходе тысячелетия. Кого из них преследовали при коммунистах, а кого нет — в рамках моего доклада значения не имеет, а в рамках нынешней быстротекущей жизни — тем более. Торговля засохшими болячками и зажившими рубцами от тоталитарного кнута — не лучший из видов торговли.

Суммируя их высказывания, скажу, что Германия занимает определенное место в их сознании, философии и творчестве. Но это не Германия, как политическая единица на карте Европы и мира, а скорее Германия культуры, включающей сюда и культуру материальную, бытовую.

«...Не очень люблю Шекспира. Сервантес с его Дон-Кихотом — это тоже не мое. А Германия — это скопище рефлексивной культуры, какой-то утонченно-упаднической, какого-то разлада духа. Мы все прочитали и Ницше, и Шопенгауэра. Томас Манн для меня — пожизненное потрясение». (З.Гареев).

«Германия — страна философов и поэтов, родина российских императоров, неоднократный источник агрессии...» (Э.Русаков).

«Отец мой был на работах в Германии, добровольно уехал, а мать была вынуждена туда поехать. Они там встретились, познакомились и таким образом получился я. И дед мой был в плену, в 14-м году. Потом — немецкий язык в школе, потом — литература, музыка и футбол. Мне нравится их футбол. Как говорится, «немецкая техника в наглядном исполнении». Еще — Бёлль, Томас Манн... Сейчас я меньше думаю о Германии.

Это можно сравнить с тем, что я сейчас мало или почти не думаю, перестал думать о женщинах.” (А.Гаврилов).

А вот концептуалист и авангардист Пригов:

”Для меня Германия существует в нескольких смыслах. Первый — это место сосредоточения русских идеальных мечтаний о научности и возвышенности. Второй смысл — для меня, как для авангардиста, это место единственного адекватного существования литературы и адекватного восприятия ее. Третье — это вообще, как и все в мире, некая стеклянная оболочка, эта стеклянная оболочка называется Германией”.

Виктор Ерофеев, автор ”Московской красавицы”: ”Для меня Германия довольно долго была белым пятном между Польшей и Францией. До открытия Германии ее культура была для меня глубокоуважаемой, но достаточно чужой, хотя все достижения философии, и у Гёте, для меня были бесспорны и увлекательны. Однажды я увидел, что между нашими культурами есть какая-то удивительная внутренняя связь”.

И, наконец, с солдатской прямоотой, бывший солдат и могильщик на кладбище Сергей Каледин:

”Германия — это единственная страна, в которой бы я, если бы меня выгнали из моей любимой России, мог бы жить... Суп и любимая моя свинья отбивная с тушеной капустой, пиво... водка, правда, плохая, но можно обойтись и без водки... Мне нравится этот тип немецкий, мне нравятся женщины красивые, мне нравятся мужчины, нравится небо над головой, нравится река Шпрее... То есть, я не вижу, что бы мне не нравилось, вот в других странах я вижу, что меня не устраивает...”

И все-таки от свиных отбивных вернемся к литературе.

”К моей прозе Германия прямого отношения не имеет, — говорит З.Гареев. — Но иногда любовь к Томасу Манну водит моим пером. Да и вообще для меня существуют три великих эстета: Гоголь, Чехов и Томас Манн”.

Замечу, кстати, что Зуфар Гареев родился в глухом башкирском селе, имел неблагополучных родителей, воспитывался в казенном детском доме, более похожим на тюрьму, чем на детское учреждение, но Томаса Манна сумел прочитать в 15 лет, книги Томаса Манна были в сельской библиотеке. Это не означает, что хорошие большевики несли культуру в массы, это подтверждает христианское ”Дух дышит, где хочет”. Далее наш эстет служил в конвойных войсках МВД, потом долгое время

работал дворником... Закончил Литературный институт. Такие вот судьбы у российских писателей.

Э.Русаков тоже утверждает, что немецкая литература почти не повлияла на его прозу. Но и он тут же добавляет: "Разве что кроме Ницше и Кафки". А среди его персонажей много немцев. Вайс из повести с названием "Брудершафт", врач Миллер, председатель колхоза, немец, собравшийся эмигрировать, то есть вернуться на родину. Но это все — российские, сибирские немцы.

(Я, кстати, видел в музее города Дудинка, что за Полярным кругом, фото мощной белокурой красавицы и подпись — "Эльза Вайс, знатный оленевод и охотник колхоза "Красный Октябрь").

Владимирец Анатолий Гаврилов говорит о Борхерте: "Он почему-то произвел на меня такое сильное впечатление, что я был несколько дней как бы сам не свой". "Я использую немецкие фразы, люблю вставлять их в рассказы, сам не знаю, почему, — говорит он. — В рассказе "Тань и Чвень", где речь идет в общем-то о восточных людях, мне почему-то захотелось вставить "Их либе дих", потому что если эту фразу правильно произносить, она очень точно передает состояние влюбленности".

Виктор Ерофеев, регулярно сотрудничающий с немецкими журналами и газетами, такими, как "Гео", "Ди вохе", "Ди цайт", "Франкфурте алгемайне цайтунг", говорит, что "немецкое влияние" обнаружилось в его новом, пока еще не опубликованном романе "Страшный суд", там есть обширные куски о Германии. А Пригов с точностью формалиста формулирует:

"Германия всколыхивает огромный ряд проблем мифологизации действительности и языка, что очень близко всем, кто прожил советский период русской действительности. Мы и они понимаем, что такое жить в мифе, как с ним работать, как он опасен и как он очарователен".

Брутальный Каледин написал повесть, которая публикуется в журнале "Континент". Кстати, этот журнал, русский эмигрантский журнал, зародился в Германии, носил клеймо крайне антисоветского, но теперь свободно выходит в Москве. Название повести говорит само за себя "Берлин, Париж и швивая рота". "Там немножечко идет речь о Германии, Восточном Берлине в эпоху стены. Мне кажется, что это — элегантная, смешная байка..." — говорит Каледин. Зная другие сочинения Каледина, лично мне так не кажется. Он, как всегда, точен, мрачен, жесток.

## Немцы и русские сегодня

Что думают об этом представители "новой волны" российской литературы?

"Пока, на мой взгляд, отношения между странами скорее хорошие, чем плохие. Но очень реально, что очень скоро они могут испортиться. Слишком два больших медведя в европейской берлоге... Но это не значит, что они будут друг другу глотки рвать. Соперничество будет примерно такое, как сейчас у Америки с Японией..." Это мнение Э.Русакова и, несмотря на мрачные мысли о том, что отношения эти могут испортиться "очень скоро, буквально в ближайшие месяцы" — это мнение — предостерегающий прогноз пессимистического оптимиста. А мы все, по большей части, являемся пессимистическими оптимистами, живя в бывшем СССР под грохот пушек чеченской войны, ведущейся нами же у себя дома.

**НЕМЦЫ И РУССКИЕ.** "Совсем недавно, это было год назад, я впервые, что ли, почувствовал себя человеком и совсем неплохим писателем, что я в России совсем редко чувствовал", — делится воспоминаниями З.Гареев, получивший тогда стипендию фонда Альфреда Тепфера и объехавший всю Германию. "Что делать, если простому российскому человеку даже котлета на франкфуртском базаре кажется земным раем", — открывает он, очевидно имея в виду под "базаром" франкфуртскую книжную ярмарку.

**НЕМЦЫ И РУССКИЕ.** "По-моему, исчерпан тот уровень отношений, который был раньше, а нового отношения я пока что не наблюдаю. То отношение, вызванное войной, вернее не столько даже войной, а последующей ее трактовкой в нашем кино и литературе, оно сошло на нет, а нового не появилось", — считает Анатолий Гаврилов.

"Я думаю, что для общего сознания российских людей есть, конечно, **НЕМЕЦ**, но вообще-то немец — это Европа. Из общего сознания немцы уже уходят, как та специфическая нация, с которой мы воевали и которая нам конкретно противостоит. В общем мировом раскладе непротивостояния — это Европа вообще", — полагает Пригов.

А вот Виктор Ерофеев: "Я думаю, что отношения между Германией и Россией в человеческом плане гораздо более проникновенные, чем у многих других европейских народов. Объяснить это можно разными

причинами. Похожим прошлым, действительной близостью культур, я бы даже сказал, близостью бытовых особенностей. Потому что Германия принесла в Россию свою бытовую культуру, и в России эта бытовая культура осталась. Я до сих пор открываю для себя какие-то подробности немецкого быта в русской культуре. Русских и немцев объединяют по крайней мере две важные вещи в культуре. Первое — углубленное отношение к истокам бытия, проблема онтологии волнует оба народа, второе — мифотворчество. Это позволяет создать в культуре замечательные образы”.

”Принято говорить, что немцы — педанты, скряги, то сё, всякая глупость, которую обыватель несет на своем дурном языке, — говорит С.Каледин. — Немцы — очаровательные люди, у них отсутствует комплекс неполноценности и присутствует комплекс любви”, — утверждает он и попробуйте с ним не согласиться.

Так КОНЧИЛАСЬ ЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА или угли еще тлеют под плотным пеплом?

”Да, — говорит Анатолий Гаврилов, — кончилась.”

”Война кончилась безусловно, и это открывает большие возможности русско-немецкого сотрудничества, причем здесь мне больше всего нравится человеческое сотрудничество”, — говорит В.Ерофеев.

”Заканчивается, — говорит А.Пригов. — Мы как раз находимся в процессе окончания. Обе нации по своему мифологизировали это время. Поэтому в России заканчивается героическое время победы над Германией, а в Германии кончается время мазохистическое.

(Кстати, многие из опрашиваемых связывают это с объединением Восточной и Западной Германии).

”Вторая мировая война в полном смысле этого слова, когда державы шли друг на друга с топором, кончилась, — считает С.Каледин. И тревожится: — Но началась другая война, на Балканах, на территории Российского государства все эти мелкие гражданские войны, — во что они могут вылиться?”

Еще больше тревожится в Красноярске Э.Русаков: ”Закончилась. Но я уверен, что уже как бы началась третья мировая война. В которой, кстати, — и это не противоречит моим предыдущим рассуждениям о соперничестве наших стран, — Германия и Россия вряд ли будут противниками, скорее, может быть, даже союзниками. Ты спрашиваешь, кто будет воевать? Найдется, кому воевать.”

И уж совсем мрачен З.Гареев, вот длинный его пассаж:

"Закончилась. Но, насколько я понимаю, все войны против России имели вообще-то одну причину: Россия брала у мирового сообщества в долг, пропивала все вчистую, и, когда от нее требовали возврата пропитых денег, ей дешевле было начать воевать и погубить сорок миллионов своего пушечного мяса... Я вообще живу предощущением, честно говоря, войны. Теперь, по-моему, повторяется то же самое. На сегодняшний день у России огромный долг. И все, кто вложил в Россию, на мой взгляд, не получают обратно ни цента, ни пфеннига, ни пенса. Под этот долг заложены все наши природные богатства, но дети не захотят расплачиваться нефтью, лесом или водой за пропитое, просранное, проблеванное старшими. И начнется война. Из которой наши дети, по-моему, победителями не выйдут".

И такое мнение имеется.

И если вы спросите меня, какое отношение к теме моего доклада имеет война в Чечне, то я не смогу вам внятно ответить, но глубоко уверен — имеет. И вот здесь "новые писатели" единодушны, несмотря на то, что каждый из них — индивидуальность и индивидуалист.

"Чечня — это наш позор", — кратко отвечает В.Ерофеев.

"Под прикрытием с обеих сторон решения каких-то то ли политических, то ли еще каких проблем разрешаются внутренне спрятанные, мафиозно-экономические разборки. Правота доказывается уничтожением противоположной стороны, а кто при этом погибнет — им абсолютно неважно", — говорит А.Пригов.

"Поскорей бы вся эта бойня закончилась" — А.Гаврилов.

"Это — величайшая глупость не потому, что хорошо или плохо, а потому, что Чечня — особый регион. Чеченец, который подтвердил на Коране свою ответственность перед происходящим, не может просто от этого отказаться. Его не примет ни родная мать, ни жена, ни любовница. Он надевает свою зеленую повязку не для красоты. И он обязательно будет биться до последней капли крови. У него, у чеченца, нет теперь другой задачи. Главной его целью будет теперь добить эту гадину. А гадина — это тот, кто влез к нему и кто нарушил его комфорт, уют душевный" — С.Каледин.

"Ничего, кроме отвращения, эта война у меня не вызывает, и каждый, кто хоть отчасти оправдывает ее, тоже вызывает у меня только отвращение", — говорит Э.Русаков.

И, как всегда, категоричен Зуфар Гареев:

“Федерально-государственная мафия отчего-то рассорилась с местной, криминально-национальной. А простые российские солдаты и простые чеченцы это, как всегда, пушечное мясо”.

... Полагаю, что я, в рамках отведенного мне времени, в какой-то степени набросал портрет этого поколения российских литераторов и дал им высказаться перед вами. Я намеренно не касался творческих особенностей этих литераторов. Повторяю — они все разные, и о них много написано — и в России, и в Германии. Здесь вы слышали их живые, непосредственные мнения. Выводы вы сделаете сами. Я только скажу, что в своем творчестве они ушли от социального пафоса, свойственного предыдущему поколению писателей, лейтмотивом творчества которого долгое время была война, военное детство. Но они не потеряли почвы, они не настолько космополитизировались, американизовались, как многие из молодых коллег, “новых писателей”. Для них и Германия, и Россия существуют как некие отдельные величины, а не как элементы всемирной космополитической тусовки и карнавала. И в этом нет противоречия. Глубоко усвоившие страшные откровения великой книги Солженицына “Архипелаг ГУЛАГ”, они, тем не менее, в эстетическом плане более находятся под влиянием исследователя всех модификаций зла Варлама Шаламова, автора “Колымских рассказов”, повествующих о жизни человека в нечеловеческих условиях концлагерей, утверждающего, что всякий тюремный опыт — отрицателен. И под влиянием гуманизма Льва Копелева, разрушителя русско-немецких послевоенных пронагандистских стереотипов. Примечательно, что все они сейчас много работают в публицистике. Пишут больше эссе и статей, чем собственно прозы. Они исхитряются выживать в сложных экономических условиях. Они живут с ощущением, что это ИХ страна и не желают покидать ее сами. Они не декларируют этого. Они просто хотят, чтобы все вернулось, по крайней мере, на круги своя, чтобы Россия вернулась в круг цивилизованных народов, откуда она на 70 с лишним лет была уведена коммунистами. Они не разбрасывают камни, а собирают их. И в этом смысле их модернизм — действительно интегрирующий фактор.

*Москва*

## Радиовещание на русском языке

В центральной Европе можно принимать следующие радиостанции на русском языке:

**„Голос России“ (Москва):** 6030, 6080, 7125, 7430, 9450, 9610, 9785, 9880, 11805, 11840, 11890, 11900, 12030, 12040, 13680, 15430 КГц.

**„Радио-1 Останкино“ (Москва):** 171, 235, 7345, 9605, 11695 КГц.

**„Радио России“ (Москва):** 7325, 7345, 9560, 9720, 9845, 11720, 12045 КГц.

**„Радио Маяк“ (Москва):** 9610, 11685, 11985, 12005 КГц.

**„Радио Свобода“** в эфире с 4 до 10, с 12 до 15, с 16 до 19 и с 21 до 3-х часов ночи по средне-европейскому времени на частотах: 5955, 6105, 7155, 7220, 9520, 9565, 9625, 9665, 11725, 11885, 15115 15215, 15290 КГц.

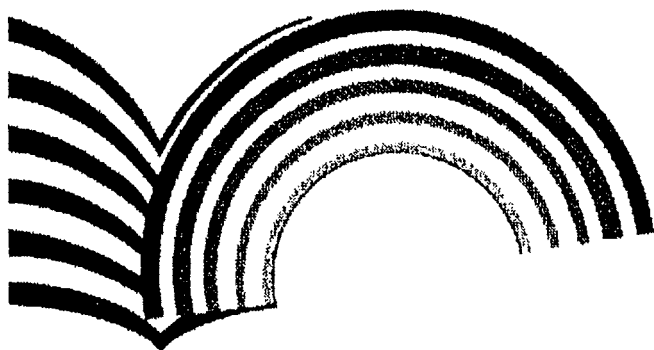
(В остальное время на этих частотах работает „Голос Америки“).

**ВВС (Лондон):** 7120, 7130, 9635, 9825, 11845, 12040 КГц.

К сожалению, прием многих радиостанций зачастую нестабилен, поэтому мы не указываем точное время вещания.

**В Берлине на частоте 106,8 МГц  
работает радиостанция SFB-4.  
С понедельника по пятницу с 16.00 до 16.20  
слушайте программу на русском языке.**

# Buchhandlung RADUGA



**Книги на русском языке**

**Friedrichstraße 176-179 • 10117 Berlin  
Fon/Fax (030) 20 30 23 17**

**Montag bis Freitag von 11.00 bis 18.30 Uhr  
Samstag von 12.00 bis 16.00 Uhr  
U-Bhf. Französische Straße oder U-Bhf. Stadtmitte**



**Принимается подписка  
на альманах «Остров»**

**Главный редактор:  
Вячеслав Сысоев**

**Редакторы-составители:  
Евгений Попов, Лариса Сысоева**

**Представитель "Острова" в Израиле:  
Игорь Губерман**

**Журнал иллюстрирован рисунками  
Вячеслава Сысоева**

**Корректор: Лариса Соколовская**

**Адрес редакции:**

**«OSTROV»,  
Danziger Str. 4,  
10435 Berlin,  
Germany**

**Tel: + 49 030 / 442 58 30**

# **СТРОВ**

**Независимый публицистический  
и литературно-художественный альманах**

**Выходит с июня 1994 года**

**Редакция не вступает в переписку по поводу присланных материалов.  
Рукописи не возвращаются.**

**Точки зрения редакции и авторов публикуемых материалов совпадают не всегда.**

ACCA!!!



**ТОВАРИЩ!**

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ  
**ЗАПАСАЙСЯ**  
ПРЕДМЕТАМИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ!

